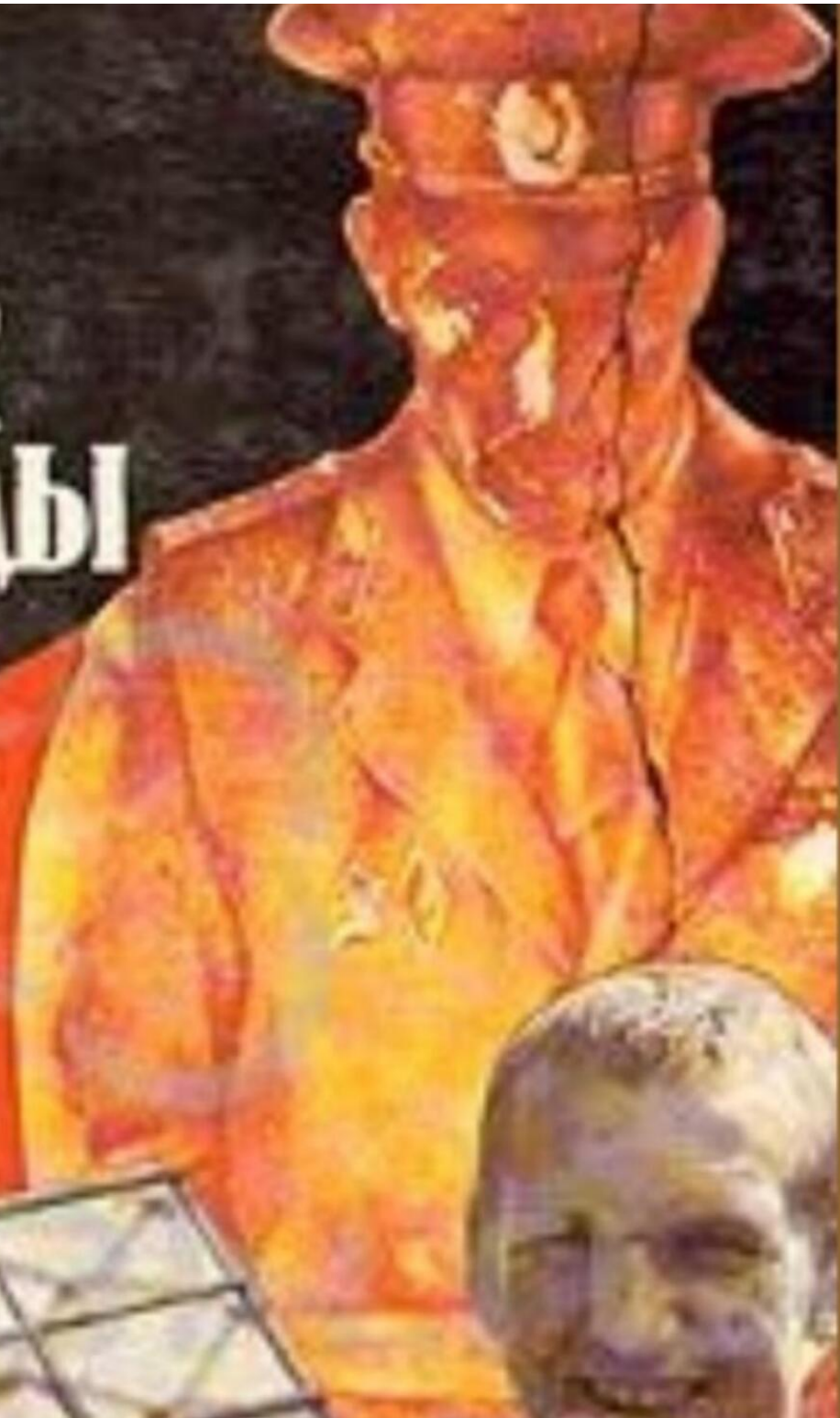


# ОДЛЯН, ИЛИ ВОЗДУХ СВОБОДЫ

ЛЕОНИД  
ГАБЫШЕВ



Леонид Габышев

**Одлян, или воздух свободы**

«Автор»

2025

## **Габышев Л.**

Одлян, или воздух свободы / Л. Габышев — «Автор», 2025

Габышев «описывает то, о чём до него никто не рассказывал: тюремный опыт ребенка, выживающего в страшных обстоятельствах, которые созданы взрослыми, чьи представления о воспитании сводятся к разнообразным вариациям побоев, пыткам ледяным карцером и голодом, постоянным угрозам столкнуть в выгребную яму». В результате Габышев «безжалостно развенчивает миф о счастливом советском детстве с его пионерией, оздоровительными лагерями и всеобщим оптимизмом». Кроме того, он «вытаскивает на свет ещё одну тему, неприятную для читателя, воспитанного на советских мифологемах: в СССР воровство не аномалия....Резонанс, как со стороны критиков, так и со стороны читателей, был огромным. Жестокая, шоковая проза о колонии для малолетних преступников, столь откровенная, что понадобилось предисловие А. Битова. Презентация книги была и в Париже, известный журнал Paris Match брал у Габышева интервью и печатал его фото на обложке — это было равносильно признанию писателя «человеком года».

© Габышев Л., 2025

© Автор, 2025

# Содержание

Часть 1	9
2	23
3	29
4	39
5	42
6	46
7	51
8	56
9	63
10	65
Конец ознакомительного фрагмента.	71

## Леонид Габышев

# Одлян, или воздух свободы

*Будущий романист (тот, кто детство провел среди малолеток) опишет нам множество затей малолеток.*

*Гулаг. III-17*

Однажды осенью 1983 года, когда уже пятый год мне не поступало не только предложений, но и ответов от наших издательств, когда и иностранные издатели метались по книжной ярмарке в Москве, как во время бомбежки, напуганные корейским лайнером, когда мои реалии походили на синдромы мании преследования и это было единственным спасением: одно подменять другим и отвергать таким образом, – меня разбудил утренний звонок в дверь.

На пороге стоял коренастый молодой человек странного и грозного вида, с огромным портфелем. Я живу у трех вокзалов, этого окошка Москвы в Россию, к которому прикикло растерянное и пространное лицо нашей провинции. Какие только лица не заглядывали ко мне! Бомжи из Запорожья, бичи из Керчи, цыгане из Казани. Это был человек с вокзала.

– Андрей Георгиевич? – спросил он, не сомневаясь, будто предъявив красную книжечку, и проник в квартиру. Я видел только его шрам.

Дальнейшее поведение отличило его от сотрудника: он быстренько снял обувь и в носках стал еще меньше, а портфель его еще больше. Он провел меня на кухню, осторожно поместил портфель под стол – что там было бьющегося? – и предложил мне сесть.

– Вас не прослушивают? – спросил он жестом, глянув на потолок и обводя пространство рукою.

– С чего вы взяли? – единственно как я мог на это ответить.

– Я по радио слышал о вас.

Радио – это радио. Я спросил:

– Ну и что вы слышали?

– Что есть такие писатели: Белов, Владимов и Битов...

Владимову было еще хуже моего, Белову много лучше.

Нас могли объединить лишь «голоса».

– Владимирова нет, Белов отказал, я его... и вот я у вас. – И опять осторожно посмотрел на портфель, будто тот мог сбежать.

Леденящее профессиональное подозрение пронзило меня.

– Э-то роман?... – спросил я, заикаясь.

– Тс-с! Все-таки вас могут прослушивать. Напечатайте, и я половину вам отдаю.

Любой уважающий себя член Союза воспользовался бы этим поводом, чтобы вытолкать посетителя за дверь. Я, видимо, не уважал себя как член Союза.

– С чего вы взяли, что я могу вас напечатать? Я себя не могу напечатать! – вспыхнул я.

– Полмиллиона ваши.

– Чего-чего??

– Но ведь миллион-то за него там заплатят! – сказал он уверенно.

«Нет! Не может быть... – соображал я. – Это не агент, не провокатор – он *такой*. Неужто такие – бывают?»

– Я уже был на книжной ярмарке, предлагал...

Я представил себе господ, боявшихся, что их уже не выпустят из Шереметьева, тет-а-тет с моим посетителем, и мне стало весело. Как это его не замели?

– Ну вот видите, они не могут, а что я могу? Кстати, а почему бы вам не попробовать напечататься у нас?

Он посмотрел на меня с презрением. Я был достоин его.

– Читал я вашего Солженицына – процедил он.

Нет, это был *такой* человек. Сомнения мои рассеялись.

Он достал из портфеля шесть папок. Портфель испустил дух: в нем, кроме романа, могла поместиться лишь зубная щетка.

Боже! Такого толстого романа я еще не видел.

– Больше восьмисот страниц, – сказал он с удовольствием. – Девятисот нет, – добавил он твердо.

Каждая папка была зачем-то обернута в несколько слоев воценой бумаги. В этой папке помещался дорогой, почти что кожаный скоросшиватель, внутри которого, наконец, были подшиты – каждая страниц на полтора – рукописи. Таких многослойных сочинений я тоже не встречал.

– А в пергамент-то зачем заворачиваете? – естественно, поинтересовался я.

– А если в воду бросать? – живо откликнулся он.

С усталостью метра я разрешил ему оставить рукопись на просмотр, только чтоб не торопился.

– Хорошо, я зайду послезавтра, – согласился он.

Много повидал я графоманов и начинающих – этот восхитил меня.

– Послушайте, вы сколько сидели?

– Пять лет.

– А сколько писали?

– Ровно год.

– И хотите, чтобы я прочитал за один день?

– Так вы же не оторветесь.

Ни тени сомнения.

– А кто еще читал?

– А никто.

– Так откуда же вы знаете?

– Кстати, – сказал он, – у меня еще есть рекорд, не зарегистрированный в «Книге рекордов Гиннеса». Это может послужить хорошей рекламой книге.

Я уже ничему не удивлялся.

– Я могу присесть пять тысяч раз подряд. Сейчас сразу, может, и не смогу. Но если надо, потренируюсь и быстро войду в форму. Не верите? Ну две тысячи – гарантирую прямо сейчас. Хотите?

– Ладно, верю, ступайте, – сказал я тоном умирающего льва.

Но он заставил меня тут же раскрыть рукопись! И я не оторвался. Как легко зато отступили от меня собственные беды! И никто потом не отрывался из тех, кто читал... Хотя их и не много было.

Вот пять лет эпизоды этой книги стоят перед моими глазами с той же отчетливостью. Будто они случились на моих глазах, будто я сам видел, будто сам пережил.

Это страшное, это странное повествование! По всем правилам литературной науки никогда не достигнешь подобного эффекта.

Бытует мнение, что бывают люди, которые знают, о чем рассказать, но не умеют. Бытует и мнение, что теперь много развелось умеющих писать – только им не о чем. Оба мнения недостаточно точны, потому что относятся так или иначе к несуществующим текстам. Потому что – не знать или уметь, а *мочь* надо. Леонид Габышев – может. Потенция – самая сильная его сторона. У него эта штука есть. Он может рассказывать нам о том, о чем, пожалуй, никто не может рассказать, тем более мастер слова. Жизнь, о которой он пишет, сильнее любого текста. Ее и пережить-то невозможно, не то что о ней повествовать. Представьте себе достоверное описание ощущений человека в топке или газовой камере, тем более художественно напи-

санное. Наша жизнь наметила такой конфликт этики и эстетики, от которого автор со вкусом просто отступит в сторону, обойдет, будто его и не было. Габышев не может уступить факту и отступить от факта именно потому, что факт этот *был*. *Был* – вот высшее доказательство для существования в тексте. Голос автора слит с голосом героя именно по этой причине. А не потому, что автор по неопытности не способен соблюсти дистанцию. Дистанция как раз есть, иначе не охватил бы он жизнь героя в столь цельной картине. Памятлив автор и в композиции: переключки его в эпизодах и линиях, так сказать, «рифмы» прозы, свидетельствуют о некоем врожденном мастерстве, которого чаще всего не достигают умеющие писать. Эти «рифмы» обещают нам будущего романиста.

У Габышева есть два дара – рассказчика и правды, один от природы, другой от человека.

Его повествование – о зоне. Воздухом зоны вы начинаете дышать с первой страницы и с первых глав, посвященных еще вольному детству героя. Здесь все – зона, от рождения. Дед – крестьянин, отец – начальник милиции, внук – зек. Центр и сердце повести – колония для несовершеннолетних Одлян. Одлян – имя это станет нарицательным, я уверен. Это детские годы крестьянского внука, обретающего свободу в зоне, постигающего ее смысл, о котором слишком многие из нас, проживших на воле, и догадки не имеют.

Это смелая книга – и граждански, и художнически. Ее надо было не только написать (в то время «в никуда», в будущее – «до востребования»), ее надо было – преодолеть. Почти так, как ту жизнь, что в ней описана.

Впрочем, преодолевая эту жизнь уже в чтении, не успеваешь задаваться вопросом, как эта книга написана. Эффект подлинности таков, сопереживание герою настолько велико, что не можешь сам себе ответить на другой вопрос: как можно было пережить все это?

Невозможно. Ни дружбы, ни опоры здесь нет – лишь боль и унижение, без конца. Смерть кажется желанной как единственно возможное освобождение. И все-таки герой спасается. Что же спасает его?

Спасает его любовь и вера. Эта тема может оказаться заслоненной для невнимательного читателя всем тем ужасом страдания, которым насыщена книга. Но, только не утерев любовь и расслышав голос веры, выживает герой. Тут нет дани ни чувствительности, ни моде. Герой не подготовлен, он не знает, ни что такое любовь, ни что такое вера. Они являются ему с тою же достоверностью факта, что и страдания. Между любовью и верой здесь тот же знак равенства, что и в писании, но не вычитанный, а обретенный (недаром и любимую героя зовут Вера). В момент полного отчаяния, когда герой близок к убийству и к самоубийству, он слышит Голос: «Терпи, терпи, Глаз, это ничего, это так надо. Ты должен все вынести. Ведь ты выдюжишь. Я тебя знаю, что же ты скис? Подними голову. Одлян долго продолжаться не будет. Ты все равно из него вырвешься». Герой верит Голосу, и не верит себе, что и впрямь слышит его: «Неужели я начал от этого Одляна сходить с ума? Неужели сойду? Нет, с ума сходить нельзя. Ведь если и правда сойду, все равно не поверят, скажут: косишь. Нет, Господи, нет, с ума сходить нельзя. Что угодно, только остаться в своем уме. Буду считать: пока в своем уме, и это мне все приснилось. Интересно, а я узнаю, что сошел с ума? Если сошел, то не пойму, что стал дураком... Нет, если так рассуждаю, то, слава Богу, еще не дурак».

Слава Богу! Это время не удалено от нас, мы его еще хорошо помним. Это не двадцатые и не тридцатые, это конец 60-х – начало 70-х, когда страна погружалась во все более глубокий сон. Я не хочу опережать повесть пересказом – прочтите. Прочтите и сравните свой сон с реальностью.

Прошло каких-то шесть лет с тех пор, как ко мне появился неожиданный гость, как угроза, как кошмар, как напоминание. Страна начала просыпаться, все болит в ней и ломит, как с перепою. Проснулась и себя не узнает: кругом националы, рокеры, зеки, старики и дети.

Пришло время и этой повести. Она нужна не им, а нам.

***Андрей Битов***

*Посвящается малолеткам*

*Случайно мы рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрах наших – дым, и слово – искра в движении нашего сердца.*

*Книга Премудрости Соломона, Глава 2, стих 2*

## Часть 1

### *Крещение*

В широкие, серые, окованные железом тюремные ворота въехал с жадно горящими глазами-фарами черный «ворон». Начальник конвоя, молоденький лейтенант, споро выпрыгнул из кабины, поправил кобуру на белом овчинном полушубке и, вдохнув холодный воздух, командовал: «Выпускай!»

Конвоиры, сидевшие в чреве «ворона» вместе с заключенными, отделенные от них стальной решеткой, отомкнули ее – она лязгнула, как пасть волка, – и выпрыгнули на утоптаный снег. Следом посыпались зеки, тут же строящиеся в две шеренги.

– Живее, живее! – прикрикнул на них начальник конвоя, а сам, с пузатым коричневым портфелем, сплюнув сигарету на снег, скрылся в дверях привратки.

Он пошел сдавать личные дела заключенных. Их было двадцать семь. Зеки построились по двое и дышали морозным воздухом, наслаждаясь им. После тесноты «воронка» стоять на улице было блаженством. Солдаты-конвоиры их пересчитали, ради шутки покрыв матом новичка – ему не нашлось пары. Один из зеков – бывалый, – видя веселое настроение конвоя, сострил:

– По парам надо ловить, а непарных гнать в шею.

Конвоиры ничего не ответили, а запританцовывали, согревая замерзшие ноги. Из привратки показался начальник конвоя и, крикнув: «Заводи!» – скрылся.

– Пошёлъ, – буркнул на зеков скуластый солдат-азиат, перестав пританцовывать. Он и так плохо говорил по-русски, а тут вдобавок мороз губы прихватил.

Зеки нехотя поплелись в тамбур привратки. Они вошли, и за ними захлопнулась уличная дверь. В тамбуре было теплее.

Через несколько минут на пороге с делами в руках появился невысокого роста капитан в кителе и шапке. На левой руке – широкая красная повязка с крупными белыми буквами: «Дежурный». Дежурный – помощник начальника следственного изолятора. Тюрьму, построенную в прошлом веке, официально называли следственным изолятором. Рядом с капитаном стояли лейтенант – начальник конвоя и старшина – корпусный, плотный, коренастый. Ему, как и капитану, лет сорок. У старшины на скуле шишка с голубиное яйцо.

– Буду называть фамилии, – сказал капитан, – выходите, говорите имя, отчество, год и место рождения, статью, срок.

Он стал выкрикивать фамилии. Зеки протискивались к дверям и, отвечая капитану, как приказал, проходили мимо него в дверь, потом в другую и оказывались в боксике. Боксик представлял собой небольшое квадратное помещение. Обшарпанные стены исписаны кличками, сроками и приветами кентам. В правом углу у двери стояла массивная ржавая параша.

Среди заключенных один малолетка – Коля Петров. Зашел в боксик в числе последних, и ему досталось место около дверей, а точнее – у параша.

Зеки, кто зашел первым, сели вдоль стенок на корточки, а те, кто зашел позже, сели посередине. Колени упирались в колени, плечо было рядом с плечом. На один квадратный метр приходилось по два-три человека. На корточках сидели не все, некоторые стояли, так как невозможно было примоститься. Стоял и Коля.

Курящие закурили, а некурящие дышали дымом. Коля закурил, слушая разговоры. Болтали многие: земляки, подельники, кто с кем мог, – но тихо, вполголоса. Дым повалил в отверстие в стене под потолком, забранное решеткой, – там тлела лампочка.

Коля за этап порядком устал и сел на корточки – лицом к параше. Жадно затягивался и выпускал дым. Дым обволакивал парашу и медленно поднимался к потолку.

Дежурный закричал:

– Прекратите курить! Раскурились.

Он еще что-то пробурчал, отходя от двери, но слов в боксике не разобрали. Цигарки многие затушили. Заплевал и Коля, бросив окурочек за парашу. Он все сидел на корточках, и ноги его затекли – с непривычки. Его глаза мозолила параша, и он подумал: почему на нее никто не садится? Ведь на ней можно сидеть не хуже, чем на табуретке. И он сел. Чтоб отдохнули ноги. Они у него задеревенели. К ногам прилила кровь, и побежали мурашки.

Сидя на параше, он возвышался над заключенными и был доволен: нашел столь удобное место. Ноги отдохнули, и ему вновь захотелось курить. Теперь в боксике чадили по несколько человек, чтоб меньше дыму шло в коридор. Рядом с Колей заросший щетиной средних лет мужчина докуривал папиросу. Он сделал несколько учащенных затяжек – признак, что накурился и сейчас выбросит окурочек, но Коля тихонько попросил:

– Оставь.

Тот затаился в последний раз, внимательно вглядываясь в Колю и, подавая окурочек, еще тише сказал:

– Сядь рядом.

Коля встал с парашы и сел на корточки, смакуя окурочек.

– Первый раз попал? – спросил добродушно мужчина, продолжая его разглядывать.

– Первый, – протянул Петров и струйкой пустил дым в коленку.

– Малолетка?

– Да.

– Знаешь, – продолжал мужчина, прищурился от дыма темные глаза, – не садись никогда на парашу. – Он почему-то замолчал, то ли соображая, как это лучше сказать новичку-малолетке, то ли подыскивая для него более понятные и убедительные слова. – *Нехорошее это дело – сидеть на параше.*

Он еще хотел что-то сказать, но забренчал ключами дежурный и широко распахнул двери. Зеки встали с корточек и перетаптывались, разминая затекшие ноги. Так сидеть было многим непривычно. В дверях стоял корпусный. Его шустрые глаза побегали по заключенным, будто кого-то выискивая, и он громко сказал:

– Четверо выходите.

Начинался шмон.

Коля оказался в первой четверке. Вдоль стены с двумя зарешеченными окнами стояло четыре стола, у каждого – по надзирателю. Коля подошел к сухощавому пожилому сержанту, и тот приказал:

– Раздевайся.

Коля снял бушлат, положил на стол, затем стал снимать пиджак, рубашку, брюки. Тем временем сержант осмотрел карманы бушлата, прощупал его и взял брюки. Коля стоял в одних трусах.

Одежда осмотрена – сержант крикнул:

– А трусы чего не снял?

Коля снял трусы и подал. Тот прощупал резинку, смял их и бросил на вещи.

– Ну, орел, открой рот.

Коля открыл. Будто зубной врач, сержант осмотрел его. Затем ощупал голову, нет ли чего в волосах, и, наклонив Колину голову так, чтобы свет лампочки освещал ухо, заглянул в него. Потом в другое. Оглядев тело Коли, сказал:

– Повернись кругом.

Коля повиновался.

– Присядь.

Коля исполнил.

– Одевайся.

Петров оделся, и его первого закрыли в соседний пустой боксик, но тут же следом вошел второй заключенный, через некоторое время – третий и четвертый.

Так проходил шмон. Из одного боксика выводили, в коридоре обыскивали и заводили в другой.

Наконец шмон закончился. И зеки опять сидели, стояли в точно таком же, как и первый, боксике, помаленьку дымя и болтая. Это все, что они могли делать. В парашу никто не оправлялся – все терпели. Но вот отворилась дверь. Тот же старшина, с шишкой на скуле, рывкнул:

– Выходи!

Зеки выходили и строились на улице, поджидая остальных. Мороз крепчал. Ветра почти не чувствовалось. Вдалеке, за забором, рассыпаны огни ночного города, приятно манящие к себе. На них смотрели многие. А Коля так и впился в них. Тюремный двор тоже освещен, еще ярче, но то были *тюремные огни*, и душа от них не приходила в восторг, а, наоборот, была угнетена, будто они хотели высветить в ней то, что никому не предназначалось.

У Коли закипело в груди, стало труднее дышать, будто тюремный воздух был тяжелее. Вот подул ветерок, охватил лицо, но не тронул спертую душу. Коля не ощутил его, он все еще был поглощен далекими огнями за забором. Так туда захотелось! Оттуда дует ветер. И там легче дышится. Ведь за забором – *воздух свободы*.

Оцепенение Коли прервалось окриком старшины:

– Разобраться по двое!

Их снова пересчитали и повели в баню. Она имела вид приземистого сарая с двускатной крышей. Они вошли в низкие двери. Здесь небольшой тамбур, из него вели две двери – одна налево, другая направо. Старшина открыл левую дверь, и зеки последовали за ним. Когда все зашли, старшина скомандовал:

– Раздевайтесь побыстрее. Вещи в прожарку.

И вышел.

В стене открылось окно не окно – целая амбразура, и по пояс высунулся заключенный – работник хозяйственной службы, одетый в хлопчатобумажную черную куртку, и сказал:

– Вещи сюда.

Зеки клали вещи на высокий квадратный стол с толстыми ножками, стоящий перед окном, голые проходили через холодный тамбур и входили в другую дверь. Здесь зеков наголо стригли три дюжих румяных молодца из хозобслужбы старыми ручными машинками и ключьями выдирали волосы. Командовал баней вольнонаемный, тощий, сутулый старикашка с сиплым голосом. На нем длинный черный халат, застегнутый на все пуговицы, из-под халата выглядывала красная клетчатая рубашка, этим и отличавшая его от хозобслужбы. Ей вольные вещи, кроме теплого белья, не полагались. И еще у него в отличие от хозобслужбы были волосы – мягкие, редкие, седые, зачесанные назад.

Сиплый раздал ножницы и, взяв в руки машинку, просипел:

– Лобки, лобки стригите. – И протянул машинку оказавшемуся рядом зеку.

Лобки так лобки (Коля никогда не слышал этого слова), и все по очереди стали их стричь. После этих процедур зеки брали из посылочного ящика кусочек хозяйственного мыла, он утопал в кулаке, и заходили в моечное отделение.

Взяв оцинкованный изогнутый тазик и набрав в него воды, Коля сел на деревянную скамейку и стал брызгать на себя воду – мыться ему не хотелось. Посмотрел на других зеков: они с усердием терли себя истерзанными, с козий хвост, мочалками, фыркали и отдувались, снова набирали горячей воды, кричали от удовольствия, терли друг дружке спины. Совсем как в вольной бане. Коля, пересилив себя, намылил остриженную голову, поскреб для виду, смыл

мыло, набрал погорячее свежей воды и стал снова брызгать на себя. Сидеть, не обливаясь горячей водой – холодно. Эту противную мочалку, которой обувь вытирать не каждый станет, брать в руки не хотелось. Но более всего ему не хотелось мыться в *тюремной бане*. Он окатил себя водой и набрал еще. Тут отворилась дверь, но не та, в которую заходили, и старшина, несмотря на то, что еще не все помылись, гаркнул:

– Заканчивай мыться! Одеваться!

Коля окатился водой и первый пошел в то помещение, где они сдали вещи в прожарку. Он понял – баня построена по кругу. На грязном полу в беспорядке валялись вещи. Отыскал свои. Из окошка их, горячие после прожарки, выбросили на пол. Их и сейчас невозможно было надеть – особенно жгли руки металлические пуговицы. Зеки едва разобрались с вещами – их повели на склад получать постельные принадлежности.

Наступало утро. Но на улице все так же темно. Снег искрился от яркого освещения. Заметно движение хозобслуги. Готовили завтрак.

Этапников завели в длинное одноэтажное здание. Здесь находилось несколько камер для заключенных и тюремный склад. Стали выдавать матрац, наматрасник, подушку, наволочку, одеяло и кружку с ложкой. Подошла очередь и Коли. Кладовщица, взглянув на него, улыбнулась:

– Ты к нам не в первый раз?

– В первый.

– Что-то лицо знакомое. Ну признавайся, что не в первый.

– Нет, в первый.

Забрав вольную одежду, кладовщица выдала ему тюремную. Малолеток, в отличие от взрослых, переодевали, и им вместо наматрасника давали простыни. Коля отошел в сторону и стал одеваться. Серый застиранный хлопчатобумажный костюм велик. Рукава подвернул, а брюки поддернул. Разбитые ботинки размера на три больше. Каблуки почти что сносились. Шнурков не было. И фуфайка велика, а шапка еле держалась на затылке.

Зеков повели в трехэтажный корпус. На улице брезжил рассвет.

Петрова закрыли на первом этаже в пустую сводчатую вытянутую в длину камеру. В ней – три железные кровати с забетонированными ножками. У левой стены – стол, рядом – бачок для воды, а на бачке вместо кружки алюминиевая миска. У противоположной от двери стены, под окном – две трубы отопления.

Коля положил матрац на кровать, на ту, что стояла ближе к дверям, а значит, и к параше, и сел. «Интересно, – подумал он, – в КПЗ говорили, что в камерах много людей, есть радио, шашки, шахматы, свежие газеты. А здесь одиночка».

Через зарешеченное окно ничего не видно – с улицы прибиты жалюзи. Он расправил матрац, вата в нем сбита комками, и лег лицом к двери. «Сколько буду сидеть один?»

Пролежал до обеда, разглядывая сводчатый потолок, стены, дверь... Иногда вставал, оправлялся в парашу, пил холодную воду и ложился снова. Скукота. Открылась кормушка, и ему подали обед – гороховый суп и овсяную кашу.

Мысли его путались. От тюрьмы перескакивали, к КПЗ, к дому, к училищу. И все же Коля твердо верил: срок ему не дадут, на худой конец – условно. Да и бог с ним. Лишь бы свобода.

После ужина Коле сказали собраться с вещами и повели на второй этаж. Дежурный, достав из-за голенища яловых сапог фанерку, формой как разделочная доска для хозяйки, только поменьше, поставил карандашом пополнение в двадцать восьмую камеру и открыл ее.

Коля решил быть пошустрее и смело переступил порог. Пацаны сидели и лежали на кроватях. Едва захлопнулась дверь, как все повскакали с мест, гогоча от радости.

– О-о-о! Камбала!!! Где тебя поймали? – прокричал белобрысый мордастый парень, с восторгом оглядывая Петрова.

Вопрос повис в камере. Все молчали, устремив пять жадных взоров на новичка. У него не было левого глаза, и он наполовину прикрыт. Под невидящим глазом зияла ямка, в нее запросто поместиться воробьиное яйцо. Ямка напоминала воронку от авиабомбы, но во много раз меньше. Из воронки в четыре разные стороны расходились темные грубые рубцы.

Коля не оробел и, улыбнувшись, ответил:

– Тура обмелела, вот меня и поймали.

Пацаны загоготали громче и подошли ближе, внимательно разглядывая новичка. Он – невысокого роста и выглядел сопляком. Коля рассматривал их. Малолеток – пять. Сильно здоровых нет, но он всех меньше. Он стушевался. Нехорошее предчувствие закралось в душу. «Если полезут драться – отвечу, будь что будет».

– Ребята, куда матрац положить?

– Да вот, – указал белобрысый на пустую кровать. – Ложи сюда.

Другой, похожий на цыгана, парень обвел прищуренным взглядом сокамерников и, заикаясь, сказал:

– Да ты раздевайся. Это теперь твой дом.

Коля сбросил бушлат и шапку на кровать, хотя в камере была вешалка, но кровать ближе. Парни закурили, и Коля попросил у них. Прикурив, сильно затянулся.

– Ну, откуда будешь? – спросил белобрысый.

– Из Заводоуковского района, – ответил Петров и, чуть помолчав, спросил: – Земляки есть?

– У нас нет. Там, – и парень показал рукой в стену, – в какой-то камере есть.

Ребята расселись на кроватях. Сел и Коля.

– По какой статье? – спросил, заикаясь, цыган.

– По сто сорок четвертой.

– Кого обчистил?

Коля задумался.

– Я вообще-то никого не чистил. Шьют мне две кражи.

– Э-э-э, – протянул белобрысый. – Он в несознанку. Вяжи об этом.

Ребята курили и расспрашивали Петрова, сколько человек пришло этапом, много ли малолеток, первый ли раз в тюрьме. Он отвечал, а сам рассматривал камеру. Она небольшая. Всего три двухъярусных кровати. Он занял шестое, последнее свободное место. Возле вешалки с фуфайками, на табурете, стоял бачок с водой. В углу у самой двери притулилась параша. У окна между кроватями – стол. На столе – немытая посуда. Стол и пол – настолько грязные, что между ними никакой разницы.

Ребята встали, и цыган сказал:

– Тэк-с... Значит, в тюрьме первый раз. А всем новичкам делают прописку. Слышал?

– Слышал.

В чем заключается прописка, Коля не знал.

– Надо морковку вить. Сколько морковок будешь ставить?

Ребята называли разные цифры. Остановились на тридцати: двадцать холодных и десять горячих.

– А банок с него и десяти хватит, – предложил один.

– Десяти хватит, – поддержали остальные.

Морковку из полотенца свили быстро. Ее вили с двух сторон, а один держал за середину. То, что они сделали, и правда походило на морковку, по всей длине как бы треснутую. Цыган взял ее и ударил по своей ноге с оттяжкой.

– Н-нештяк.

– Добре, – поддакнул другой.

Посреди комнаты поставили табурет, и белобрысый, обращаясь к худому и потому казавшемуся высоким парню, сказал:

– Смех, на волчок.

Смех вразвалочку подошел к двери и затылком закрыл глазок.

– Кто первый? – спросил белобрысый и, протянув парню с пухлым лицом морковку, добавил: – Давай короче.

Пухломордый взял морковку, встряхнул ее и, усмехнувшись, приказал Коле:

– Ложись.

Коля перевалился через табуретку. Руки и ноги касались пола. Парень взмахнул морковкой и ударил Колю по ягодицам.

– Раз, – начал отсчет один из малолеток.

– Слабо, – корил белобрысый.

– Ты что, – вставил цыган, – забыл, как ставили тебе?

Парень сжал губы, и второй раз вышло лучше.

– Два.

– Во-о!

– Три!

– Это тоже добре, – комментировал цыган.

– Четыре.

Задницу у Коли жгло. Удары хоть и сильные, но терпимые. Он понял: морковка хлещет покрепче ремня. Кончил бить один, начал второй. Ягодицы горели. Четырнадцать холодных поставили, осталось шесть.

Теперь очередь Смеха. Его заменили на глазке. Удары у Смеха слабые, но боль доставляли. Он отработал и стал на глазок. Осталось десять горячих. Конец морковки намочили.

– Дер-р-жись, – сказал цыган.

Мокрая морковка просвистела в воздухе и обожгла Коле обе ягодицы. Цыган бил сильнее. И бить не торопился. Свое удовольствие растягивал. Ударив три раза, намочил конец морковки, повытягивал ее, помахал в воздухе и, крикнув, с выдохом ударил. Только у Коли стихла боль, цыган взмахнул в последний раз, попав, как и хотел, самым концом морковки. Такой удар сильнее.

Но вот морковка в руках у белобрысого.

– На-ка, смочи, – подал он пухломордому.

Теперь морковка почти вся мокрая.

Белобрысый свернул ее потуже, повытягивал так же, как цыган. Парни, видя, что он скоро ударит, заготали. Все знали по себе, как он бьет.

– Ты ему, – сказал цыган, – ударь разок не поперек, а вдоль. Чтоб хром лопнул.

– Он тогда в штаны наладет, – заметил другой.

Коля понял: били вначале слабые, а теперь надо выдержать самое главное, и не крикнуть, а то надзиратель услышит.

Петрову неловко лежать, перевалившись через табурет. Из его рта пока не вылетел ни один стон. Вот потому его хлестали сильнее, стараясь удачным ударом вырвать из него вскрик. Чтобы унижить. Упрекнуть. Коля понимал это и держался.

Белобрысый поднял обе руки до уровня плеч, в правой держа морковку. Расслабился, вздохнул, переложил конец морковки в левую руку и, сказав: «Господи, благослови», с отяжкой что было мочи ударил. Задница у Коли и так горела, а сейчас будто кто на нее кипятка плеснул. Следующий удар не заставил себя ждать. Только утихла боль, белобрысый сплеча, без всякой отяжки хлестнул вдругорядь. Удар был сильнее первого. Коля изогнул спину, но не застонал. Ребята каждый удар сопровождали кто выдохом, будто били сами, кто прибауткой.

Их бесило, что пацан молчал. Они ждали стога. Тогда белобрысый стал бы бить тише. Но Коля терпел. Последний удар – самый сильный. Стога – нет. Белобрысый отдал морковку и сказал:

– Молодец, Камбала! Не ожидал. Не то что ты, Смех!

Смех с ненавистью взглянул на Петрова. Он перед Камбалой унижен. Перед этим одноклассником...

Пока привязывали к концу морковки кружку, Коля передохнул. Осталось вытерпеть десяток банок. Алюминиевая кружка к ошпаренной заднице будет прилипать сильнее.

Поставили Коле и банки. Он выдержал. Ни стога. Задница горела, будто с нее сняли кожу. Белобрысый и двое ребят остались довольны Петровым. Так терпеть должны все. Но двое, цыган и Смех, возненавидели его.

Коля закурил.

– Н-ну, садись, – сказал цыган. – Что стоишь?

Парни засмеялись. Все понимали, что сесть невозможно.

– Покури, передохни, – беззлобно сказал белобрысый. – Садиться придется. Кырочки, тромбоны и игры остались. – Он помолчал, глянул на Колю, потом добродушно, будто не было никакой прописки, сказал: – Теперь можно знакомиться. – И протянул широкую жесткую ладонь. – Миша.

– Коля.

Вторым дал руку цыган.

– Федя.

Третий был тезка, а четвертого звали Вася. Смех дал руку и сказал:

– Толя.

– Не Толя, – оборвал его Миша, – а Смех.

– Ну Смех, – недовольно протянул он.

– А ты, – сказал Миша, обращаясь к Коле, – отныне не Коля, а Камбала. Эта кличка тебе подходит.

Посреди камеры поставили скамейку.

– Садись, – сказал цыган, – сейчас получишь по две кырочки и по два тромбона.

Коля сел.

– Делай, Вася, – скомандовал Миша.

Вася подошел, нагнул Коле голову, сжал пальцы правой руки и, размахнувшись, залепил по шее. Раздался шлепок.

– Р-раз, – произнес цыган.

И тут Вася, вновь примерившись, закатил Коле вторую кырочку.

– Следующий.

Когда бил Миша, голова сотрясалась, чуть не отскакивая от шеи, и хлопок, похожий на выстрел, таял под потолком. Шею ломило.

Затем ребята поставили Коле по два тромбона. Одновременно ладонями били по ушам и с ходу, соединив их, рубили по голове. Уши пылали. В ушах звенело.

– А сейчас, Камбала, будем играть в хитрого соседа, – объявил Миша.

– Я буду хитрым соседом, – вызвался цыган.

– Игра заключается в следующем, – продолжал Миша. – Вы двое садитесь на скамейку, на головы вам накидываем фуфайку, а потом через фуфайку бьем по головам. Вы угадываете, кто ударил. Это та же игра, что и жучок. Вернее сказать – тюремный жучок. Только вместо ладони бьют по голове. Итак, начали.

Коля и Федя сели на скамейку. На них вмиг накинута фуфайка, и Коля тут же получил удар кулаком по голове. Он поднял полу и посмотрел на Мишу, так как удар был сильный.

– Ты?

– Нет!

Коля накинул полу фуфайки на голову. Следующий удар получил Федя. Но он тоже не угадал. Коля не отгадал и во второй раз и в третий. А в четвертый его ударили не кулаком, а чем-то тяжелым, и в голове загудело. Но он опять не отгадал. Теперь не только задница ныла, но и голова гудела. Снова получил удар чем-то тяжелым и понял: ударил сосед. Коля скинул фуфайку и показал пальцем на Федю.

– Это он.

– Ох и тугодум ты. Бьют тебя все, а надо на соседа показывать. Ведь игра называется хитрый сосед, – улыбаясь, сказал Миша.

Следующая игра – петух. Коля с усилием натянул рукава фуфайки на ноги. Его голову обхватили две дюжие руки, наклонили ее и, просунув под воротник, натянули фуфайку на спину. Затем цыган с пренебрежением толкнул Колю ногой. Он закачался на спине, как ванька-встанька, и остановился. Петух – своего рода капкан или смирительная рубашка: Колина голова была у самых колен, ноги, продетые в рукава, бездействовали, руки, прижатые фуфайкой, стянуть ее были не в силах. Он катался по полу, стараясь выбраться из петуха, но тщетно. С ним могли сделать все что угодно. Ребята давились от смеха, наслаждаясь его беспомощностью.

Ярости в Коле не было. Чувства парализованы. Воля надломлена. Хотелось одного – чтоб быстрее все кончилось. Раньше он думал, что среди заключенных есть какое-то братство, что они живут дружно между собой, что беда их сближает и что они делятся последней коркой хлеба, как родные братья. Первый час в камере принес разочарование. Он готов плакать. Лучше провалиться в тартарары, чем беспомощному валяться под насмешками на полу.

– Хорош гоготать. Побалдели – и будет. Снимите петуха, – сказал Миша.

Никто не двинулся. Освободить никому не хотелось. Все же тезка освободил голову, и Коля медленно, будто контуженный, вытащил ноги из рукавов. Он – свободен, но продолжает сидеть на полу. Федя-цыган подходит, заглядывает в лицо и, отойдя к двери, расстегивает ширинку. Коля невидящим взглядом смотрит в пол. Цыган оборачивается. Камера остолбенела. Такого не видывали. Цыган остановился в двух шагах от Коли и стал тужиться. Коля поднял глаза, но остался недвижим. Ему надо встать, но этот час кошмара вымотал его, и он плохо соображал. Струя приближалась к Коле, еще доля секунды – и ударит в лицо. Он инстинктивно, будто в лицо летит камень, поднял руку. Ладонь встретила струю, и от нее полетели брызги.

– Федя, Федя, ну зачем ты, Федя? – Встать Коля не мог.

Цыган смеялся. Струя колебалась. Коля водил рукой, ловя струю, и она разбивалась о ладонь. Но вот до него дошло, что надо сделать, и он вскочил с пола. Цыган прекратил. В камере гробовое молчание. Его нарушил цыган:

– Ну, остается еще одно – и хватит с тебя.

Все молчали.

– В тюрьме есть закон, – продолжал цыган, – и в нашей камере тоже: все новички целуют парашу.

Коля не знал, когда кончится пытка, и был готов на все. Что параша дело плохое – эти слова не пришли на память. Не до воспоминаний. Как во сне. Но почему-то целовать парашу показалось странным, и он, посмотрев на цыгана, спросил:

– И ты целовал?

– А как же?

Коля обвел взглядом ребят. Они молчали. И спросил:

– А правда надо целовать парашу?

Ответом – молчание. Коля заколебался. Тогда Смех поддержал цыгана:

– Целуй. Все целуют.

– Вот поцелуешь – и на этом конец, – вмешался цыган. Как хотелось Коле, чтоб все кончилось. Сломленная воля говорила: целуй, но сердце подсказывало: не надо.

Не доверяя цыгану и Смеху, он посмотрел на Мишу, самого авторитетного. Миша был доволен Колей – он ни разу не застонал, когда его прописывали. Но теперь, когда малодушничал, Мише не было его жалко.

– Парашу целуют все. Это закон, – сказал он.

Коля еще раз обвел всех взглядом и остановился на цыгане.

– Ну что же, целуй, – растягивая слова, чтобы не заикаться, сказал цыган.

– А куда целовать?

– Открой крышку и в крышку изнутри.

Коля медленно подошел к параше – она стояла у самой стены – и откинул крышку.

– Сюда? – указал он пальцем на зернистую, отбеленную солями внутреннюю сторону крышки.

– Сюда, – кивнул цыган.

Сердце, сердце опять подсказывало, что целовать парашу – не надо. Но крышка открыта – мосты сожжены. К ребятам он стоял спиной и нагибался к крышке медленно, будто она могла полоснуть, словно нож, по горлу. Из параша несет мочой. Вот крышка рядом, он тянет к ней губы, будто она раскаленная, и, прикоснувшись, обожжет их. В камере – тишина. Все замерли, будто сейчас свершится что-то такое, от чего зависит их судьба. Коля еле тронул губами крышку и выпрямился – камера взорвалась:

– Чушка! Параша! Мина!

Гул стоял долго.

– Камбала! Закрой парашу! – наконец крикнул Миша.

Коля закрыл.

– Сейчас позвоним, – продолжал он, – во все камеры и скажем, что у нас есть чуха.

Миша взял со стола кружку и только хотел стукнуть по трубе, как Коля, поняв, какая жизнь его ожидает, закричал:

– Миша! Ребята! Простите! Ведь я правда думал, что надо целовать парашу. Вы же сами сказали, – он посмотрел на цыгана, на Смеха, остановил взгляд на Мише, – что целовать парашу – тюремный закон. Если б вы не сказали, разве б я стал целовать? Да не поцеловал я ее, только губы поднес...

Ребята молчали. Решающее слово оставалось за Мишей. Он немного подумал.

– Хорошо, – сказал он и поставил кружку на трубу отопления, – звонить не будем.

Он замолчал. Молчали и остальные.

– Я думаю, его надо простить, – произнес Миша.

Смех был против, а цыган молчал. Двое ребят согласились с Мишей. Переговорив, парни Колю решили простить и никому об этом не рассказывать.

Камеру повели на вечернюю opravку. Парашу тащили Смех и Коля. Туалет – через две камеры, в самом углу. Стены его обрызганы раствором и напоминали вывернутую наизнанку шубу. Так сделано для того, чтобы на стенах не писали. Ребята подошли к стене и в щелях «шубы» стали искать записки.

На этаже два туалета в разных концах. Половину камер водили в один, другую – во второй. Туалет – общее место, и его стена-шуба служит почтой.

Парни умылись, вытерлись полотенцем. Умылся и Коля, но вытерся в камере. Не взял полотенце.

Покурив, ребята начали учить Колю фене – воровскому жаргону. По фене он не ботал, а это входило в ритуал, дополняя прописку и игры. Так Петров узнал, что кровать – это шконка, или шконцы, лампочка – тюремное солнышко, ботинки – коцы, говноступы, или говнодавы, или прохоря, надзиратель – дубак, попка, попкарь, глазок в двери – волчок...

– Ну, Камбала, ты знаешь «Гимн малолеток»? – спросил Миша.

– Не знаю.

– Ладно, выучишь потом. Давай у дубака попроси гитару, а то скучно. Я поиграю, а мы споем «Гимн малолеток».

Коля постучал в кормушку. Надзиратель открыл ее.

– Что тебе?

Это – другой попкарь. Они сменились.

– Старшой, дай гитару, мы поиграем.

– Может, и бабу привести?

Он закрыл кормушку, а пацаны закатывались со смеху.

– На базар не хочешь сходить? – смеясь, спросил цыган. – Может, толкнешь чего да водяры притащишь.

Засмеялись опять. Смеялся и Коля. За компанию. Над самим собой.

Нахотавшись над новичком, ребята помыли ложки, вытерли со стола и сели ужинать во второй раз. Из-за окошка – оно служило холодильником – достали сливочное масло, копченую колбасу и пригласили Колю к столу. Он отказался.

– У малолеток все общее, садись, – поставил точку Миша.

Колбасу нарезали алюминиевой ложкой. Ее конец заточен, как финский нож.

Коля брал тоненькие кусочки колбасы не только из-за скромности – есть не хотелось. Побить бы одному! В одиночке!

Ребята убрали со стола и расправили кровати. Коля постелил постель, и попка прокричал:

– От-бой!

Ребята улеглись, и цыган спросил Колю:

– Кино любишь?

– Люблю.

– Часто смотрел?

– Часто.

– Во-о-о! Нештяк! Счас будешь рассказывать.

Коля рассказал два кинофильма. Ребята – довольны. Цыган попросил еще.

– Хорэ<sup>[1]</sup>, Федя! Оставь на завтра, – громко сказал Миша и отвернулся к стене.

Коля с головой – под одеяло, будто одеяло отделяло его от тюрьмы.

Долго не мог уснуть. Ворочался. Тяжкие думы захлестывали сознание. Не ожидал, что тюрьма так издевательски встретит. «Господи, помоги», – молила его душа. На кого уповать – не знал он, а на себя после унижительного вечера почти не надеялся. «Что я могу сделать с пятерыми? Как быть?» Понимал: житуха будет несладкой. Но изменить ничего нельзя. С волками жить – по-волчьи выть. И не выть, а лишь только *подвывать*.

Ему снились кошмарные сны. Проснулся и обрадовался: как хорошо, что все было во сне. Но тут же вспомнил вчерашний вечер, и стало страшно. Ему хотелось, чтобы и тюрьма была лишь только сном. Он откинул одеяло, и в глаза ударил неяркий свет ночной лампочки, светившей, как и в боксике, из зарешеченного отверстия в стене. Нет – тюрьма не сон. «Сколько же сейчас времени? Скоро ли подъем?» – подумал он, поворачиваясь к стене и натягивая на голову одеяло.

Он лежал, и ему не хотелось, чтобы наступало утро. Что принесет новый день? Уж лучше ночь. Тюремная ночь. Тебя никто не тронет. Или лучше – одиночка.

Но вот дежурный закричал: «Подъем!» – и стал ходить от двери к двери и стучать ключом, как молотком, в кормушки, крича по нескольку раз: «Подъем!» Камера проснулась. Ребята нехотя вставали, потягивались, ругали дубака.

– Да, Камбала, ты сегодня дневальный, – с кровати сказал Миша, стряхивая на пол пепел с папиросы.

Слышно было – соседние камеры водили на opravку. И у их двери забренчал ключами дежурный.

– На opravку! – распахнув дверь, крикнул он.

Цыган, проходя мимо Коли, сказал:

– Выставь бачок.

Коля выставил и зашел за парашей.

– Смех, – услышал Петров в коридоре голос Миши, – а парашу кто понесет?

Смех вернулся, злобно взглянул на Колю, и они, взяв за ручки двухведерную парашу и изгибаясь под ее тяжестью, засеменили в туалет.

В туалете холодно. После opravки ребят закрыли в камеру.

В коридоре хлопали кормушки: разносили еду. Открыли и у них.

– Кружки! – гаркнул работник хозобслужки, и Коля, взяв со стола кружки, в каждую руку по три, поднес к нему.

Тот шустро насыпал по порции сахару специальной меркой, сделанной из нержавеющей стали и похожей на охотничью мерку для дробы. Через несколько минут Коля получил шесть порций сливочного масла, завернутого в белую бумагу, а затем хлеб и занес бачок с кипятком.

Открылась кормушка, и баландер – молодая симпатичная женщина, стала накладывать кашу. Ребята облепили кормушку. Коля смотрел на согнутые спины малолеток. Миша и цыган стояли у кормушки первые и пожирали взглядом женщину, бросая комплименты и чуть ли не объясняясь в любви. В каждой камере ей уделяли внимание, иногда граничащее с цинизмом. В роли баландера выдерживала не каждая женщина, но многие соглашались: досрочное освобождение заставляло женщину пойти на этот шаг и стать объектом ежедневных излияний заключенных.

Парни сели за стол. В белый ноздристый хлеб, его в тюрьме давали малолеткам только на завтрак, они втерли пятнадцать граммов масла. Ели не торопясь, особенно когда пили чай с сахаром и маслом. Удовольствие растягивали.

После завтрака Коля собрал миски и поставил у дверей. Малолетки, лежа на кроватях, курили и ждали вывода на прогулку. Им крикнули приготовиться, и Коля сказал:

– На прогулку не пойду. У меня носков шерстяных нет и коцы здоровенные.

– Пошли, – позвал цыган, – мы ненадолго. Замерзнем – и назад.

Вместо шарфов обмотали шеи полотенцами.

Коля остался.

Как хорошо одному. Вот бы они совсем не возвращались. Но ребята минут через двадцать вернулись. Румяные, веселые.

Отогревшись, цыган взял шахматы.

– Сыграем в шашки?

– Сыграем, – согласился Коля.

Вместо шашек расставили шахматы. Цыган обвел всех взглядом и спросил Колю:

– Играем на просто так или на золотой пятак?

– Конечно, на просто так. Где же я возьму золотой пятак, если проиграю?

За игрой наблюдали, но никто не подсказывал. Коля проиграл быстро.

– Теперь исполняй три желания, – сказал цыган, вставая из-за стола и самодовольно улыбаясь.

Он потянулся, будто после тяжелой работы, и встал посреди камеры, скрестив руки на груди.

– Какие три желания? Мы так не договаривались.

– На просто так – это значит на три желания.

– А если б на золотой пятак? – спросил Коля. – Тогда бы что?

– А тогда бы я потребовал золотой пятак. Где бы ты взял его? Ну и опять – три желания.

Понял Коля – три желания горели так или иначе.

– Первое желание говорю я. – Цыган поднял вверх указательный палец. – Да ты не бойся, желания простые. Полай на тюремное солнышко, а то оно надоело. Неплохо, если оно после этого потухнет. Пошел. – И цыган указал место.

Коля вышел на середину камеры, поднял вверх голову и залаял.

– Плохо лаешь. Старайся посмешнее. Представь, что ты на сцене. Мы – зрители, – сказал Миша, – и тебе надо нас рассмешить. Ты должен не только лаять, но и изображать собаку. А вначале – повой.

Коля, глядя на лампочку, завыл. Он решил сыграть роль собаки по-настоящему. Бог с ними, на сцене он выступал не раз. Выл он на разные голоса. Потом, обойдя камеру и виляя рукой вместо хвоста, наострил уши другой рукой. И загавкал. Ребята покатались со смеху. Это им понравилось. Гавкал долго, из разных положений, а потом, будто обессиленный, упал на пол и завилял «хвостом». Парни зааплодировали. Унижения, как вчера, не чувствовал. «Это роль, только роль», – утешал он себя.

– Итак, Камбала, молодец! – похвалил его Миша. – Смех эту роль исполнил хуже. Мы его заставляли гавкать до тех пор, пока не потухнет лампочка. – Миша затаился и, выпуская дым, продолжал: – Следующий номер нашей программы, – он задумался, – да, возьми вон табуретку и, будто с чувихой, станцуй.

Коля покружился с табуретом, прижимая его к груди, и поставил на место.

– Пойдет, – сказал Миша.

– А теперь изобрази кошку. Животные у тебя лучше получаются, – сказал Коле тезка.

Роль кошки исполнена, и Коля сел на кровать. Закурил.

– Покури, покури, – сказал цыган, – сейчас будет тюремный бокс. Смех, готовься!

Смеху на руки вместо боксерских перчаток намотали полотенца и полотенцем же завязали глаза. То же сделали и Коле.

Их вывели на середину камеры, покрутили в разные стороны, и Миша, стукнув ложкой по кровати, объявил:

– Гонг!

Противники сходились, вернее, расходились в разные стороны, и Миша крикнул:

– Атака! Бейте друг друга!

Они начали лупить по воздуху, стоя друг к другу спиной.

– Так, – подсказывал Миша, – определяйте, где находитесь. Пробуйте сойтись.

Смех махал сзади, потом, резко развернувшись, пошел на него с вытянутой левой рукой, держа правую наготове.

Он шел на Петрова, держа руки полусогнутыми. Они встретились и замахали руками. Несколько ударов Коля пропустил, но потом, присев и снова встав, ударил Смеха раз в лицо и два раза по корпусу.

– Разойтись! – услышали они команду и отошли друг от друга.

– Сходитесь.

Они сошлись, и замелькали кулаки, обмотанные полотенцами. Коля получил несколько ударов в грудь, потом в лицо и понял – удары наносятся с большой точностью. Он сдернул полотенце и увидел Смеха с развязанными глазами. – Хорош! – сказал Миша. – Сейчас будет еще одна игра, – он посмотрел испытывающе на Колю, – парашютист.

Ребята отодвинули стол к трубам и поставили на него табурет.

– Ты должен с табуретки, – Миша показал рукой, – прыгнуть вниз головой.

– Нет, – возразил Коля, – вниз головой прыгать не буду. Прыгнуть просто – могу.

– Нет, – заорали на него, – ты должен прыгнуть вниз головой!

– Ты что, боишься? – спросил Миша. – Я думал, ты смелый.

Коля молчал. Он боялся сломать шею.

– Если не прыгнешь, получишь морковок и банок в два раза больше, чем вчера. И еще кое-что придумаем, – сказал цыган.

– Ладно, согласен, – сказал Коля.

Он решил прыгнуть с вытянутыми вперед руками.

Ему завязали глаза, и он встал на стол, потом на ощупь ступил на табурет.

– Приготовиться! – сказал цыган. – Считаю до трех, и прыгай. Раз, два, три!

Коля нырнул вниз головой с вытянутыми вперед руками. Он ожидал удара о жесткий пол, но упал на мягкое одеяло – его за четыре конца держали парни. Они заржали.

– Ну что, надо сказать – парашютист ты неплохой, – подбодрил его Миша, хлопнув ладошкой по шее.

Открылась кормушка, и звонкий девичий голос сказал:

– Газеты.

Ребята ломанулись к кормушке взглянуть на тюремного почтальона. Девушка подала газеты, и сеанс окончен.

– Ух ты! – сказал Михаил.

– Да-а, – протянул Колин тезка.

– Полжизни б отдал, – даже не заикнувшись, с восторгом сказал цыган. – Не знаю, сколько дадут, но пусть бы еще год добавили. – Он тяжело вздохнул и от бессилия, что это лишь мечты, потер ладонь с ладонью.

Парни просмотрели газеты, но читать стал один Петров.

После обеда Колю повели снимать отпечатки пальцев. Это называлось играть на пианино. Потом сфотографировали на личное дело и закрыли в камеру.

Вечером он рассказывал кинофильмы. Когда все уснули, почувствовал облегчение. Как хорошо одному! «Сколько буду с ними сидеть? Когда заберут на этап?» Ему захотелось поплакать. Может, станет легче. Но не было слез.

Вторая ночь, как и первая, прошла в кошмарных снах.

На следующий день после завтрака был обход врача. Он проводился через день. Заключенные выходили в коридор. Врач давал таблетки. Попасть в больницу невозможно. Косить – бесполезно. Врач и на больных, и на здоровых смотрела одинаково – они для нее заключенные.

– Есть больные? – спросил надзиратель, широко распахнув дверь.

Парни увидели полнеющую молодую женщину в белом халате и в белом колпаке. Пышногрудую, привлекательную.

– Нет больных, что ли? – переспросил надзиратель.

– Есть! – заорал цыган и выскочил в коридор.

Через минуту вернулся, неся в руке две таблетки.

– Ну что? – спросил Миша. – Не обтрухался?

Цыган от удовольствия закрыл глаза, открыл и с сожалением сказал:

– Да, неплохо бы. Полжизни б отдал.

– Ну и отдавай, – вставил Миша, – а завтра помри.

Ребята засмеялись.

И тут они рассказали Петрову, – а это рассказывали всем новичкам-малолеткам, – как ее однажды чуть не изнасиловали. Возможно, это пустили тюремную «парашу».

Был очередной медосмотр. Надзиратель открыл камеру, и малолетки выходили к врачу. Но тут в дверь коридора постучали, и надзиратель ушел. Парни, не долго думая, затащили врачу в камеру и захлопнули дверь. Каждому хотелось быть первым. Они отталкивали друг друга, но тут надзиратель подоспел. За попытку всем добавили срок.

– Газеты, – слышался ласковый голос.

Этот голос для малолеток как отдушина. Надзиратели и хозобслуга, открывая кормушки, кричали. А у почтальона крика не получалось. Говорили: она дочь начальника тюрьмы.  
– Федя, – смеялся Миша, – женись на ней – и начальник тебя освободит.

## 2

И потянулись для Коли невыносимо длинные дни, наполненные издевательствами и унижением. Мучил его цыган. То он выкручивал руки, то ставил кырочки и тромбоны, то наносил серию ударов в корпус. Ответить Коля не мог, чувствовал за собой грех – случай с парашей.

Если Коля днем засыпал, между пальцев ног вставляли обрывок газеты и поджигали. Пальцы начинало жечь, он махал во сне ногами, пока не просыпался. Это называлось *велосипед*. Был еще *самосвал*. Над спящим на первом ярусе привязывали на тряпке кружку с водой и закручивали. Раскрутившись, кружка опрокидывалась и обливала сонного водой. Такие игры начальство не запрещало, потому что спать днем в тюрьме не полагалось.

Еще спящему приставляли горящий окурок к ногтю большого пальца ноги. Через несколько секунд ноготь начинало нестерпимо жечь. Игры в основном делали Петрову, иногда Смеху и реже – Васе и Колиному тезке. Мише и цыгану не делали вовсе. Боялись получить в лоб.

Днями малолетки лежали на кроватях, прислушиваясь к звукам в коридоре. Они всегда угадывали, кто открывал кормушку. Знали по времени, кто должен прийти.

И еще было занятие в камере, развеивающее малолеток, это – тюремный телефон. Если по трубам отопления раздавался стук, несколько парней прижимали ухо к горячей трубе или к перевернутой вверх дном кружке. Слышимость отличная – лучше, чем в городской телефонной сети.

Вечерами зеки по трубам устраивали концерты. Пели песни, читали стихи, рассказывали анекдоты.

Когда и это надоедало, парни принимались долбить отверстие в стене около трубы в соседнюю камеру. Им хотелось поговорить с соседями без всякого тюремного телефона. Продолбив стену приблизительно на полметра – насколько хватало стальной пластины, оторванной от кровати, – они остановились. Дальше долбить нечем.

Тогда решили той же пластиной отогнуть жалюзи, чтобы видеть тюремный двор и пускать коня. Конь на жаргоне обозначал вот что. В окно сквозь решетку и жалюзи пропускали веревку и опускали ее. Камера, что была внизу, эту веревку принимала. Тоже через окно. Привязывали к веревке курево и поднимали вверх. Так камере с камерой можно было делиться куревом и едой.

К малолеткам заглянул старший воспитатель, майор Замараев. Обвел всех смеющимся взглядом. Ребята поздоровались. Замараев – в черном овчинном полушубке, валенках, в форменной шапке с кокардой. Лицо от мороза покраснело.

– Так, значит, новичок, – сказал он, разглядывая Колю. – Как фамилия?

– Петров.

– По какой статье?

– По сто сорок четвертой.

– Откуда к нам?

– Из Заводоуковского района.

Майор, смеиваясь, скользнул взглядом по камере, будто чего-то выискивая.

– Кто сегодня дневальный?

– Я, – ответил Коля.

– Пол мыл?

– Мыл.

– А почему он грязный?

Коля промолчал.

– На столе пепел, на полу окурков. – Майор показал пальцем на чинарик.

Окурков бросили на пол после того, как Коля помыл пол.

– Один рябчик, – и майор поднял палец вверх.

Коля смотрел на старшего воспитателя.

– Не знаешь, что такое рябчик?

– Нет.

– Это значит – еще раз дневальным, вне очереди. Теперь ясно?

– Ясно.

– Прописку сделали?

Коля молчал. Ребята заулыбались.

– Сделали, товарищ майор, – ответил цыган.

– Кырочки получил?

– Получил, – теперь ответил Коля.

– Какую кличку дали?

– Камбала, – ответил Миша.

Майор улыбнулся.

– Вопросы есть? – Только теперь воспитатель стал серьезным.

– Нет, – ответили ребята.

Майор ушел.

– Вот так, Камбала, от Рябчика рябчик получил. Для начала неплохо. Завтра будешь опять дневальным, – сказал Миша.

Оказывается, у старшего воспитателя кличка Рябчик.

Камеру повели к Куму. Так в тюрьмах и зонах зовут оперуполномоченных. Коля лихо-радочно соображал, спускаясь по витой лестнице, какой выкинуть у Кума номер. Решил рас-смешить ребят и шутовской ролью поднять себя.

Кабинет Кума в одноэтажном здании, рядом – комнаты для допросов. В одну ребят и закрыли. В ней – стол, и с противоположных сторон от него к полу прибито по табурету. Один для следователя, другой – для заключенного...

Миша и цыган сели на табуреты, остальные притулились к стенам и вполголоса разговари-вали.

К Куму малолеток привели для беседы: если есть нераскрытые преступления, чтобы рас-сказывали, а он составит явку с повинной.

– Ребята, – обратился Коля к пацанам, – я притворюсь дураком, а вы подтвердите, что у меня не все дома.

Ребята засмеялись, предвкушая прикол, весело глядя на Петрова. Они не сомневались, что он исполнит *роль дурака*.

– Давай, Камбала, делай, – вставая с табурета и закуривая, одобрил Миша.

К Куму Коля пошел третьим. Отворив дверь и держась за ручку, стал шаркать у порога ногами, будто вытирая о тряпку. Но тряпки не было. Сняв шапку, переступил порог и затворил дверь. Щурясь от яркого освещения, сказал:

– Здравсте. Вы меня звали? – и часто-часто заморгал.

– Садись. – Кум мотнул головой в сторону стула, стоящего перед ним.

В кабинете несколько стульев, и Катя сел на один из них.

– Нет-нет, вот на этот, – быстро сказал Кум, жестом показывая на стул, на который надо сесть.

– А-а-а, – протянул Коля, вставая со стула и пересаживаясь. – На этот так на этот.

Кум внимательно рассматривал Петрова, стараясь понять, что за подследственный сидит перед ним. А Коля, окинув взглядом располневшего Кума – ему было лет тридцать пять, –

достал из коробка спичку и стал выковыривать грязь из-под ногтей, а потом начал ковырять этой же спичкой в зубах.

Понаблюдав за Петровым, Кум спросил, откуда он и за что попал.

Коля был немногословен.

– Вот тебя посадили за воровство, – начал Кум, – может, у тебя есть еще кражи, о которых органы милиции не знают. Давай по-хорошему, расскажи, если есть. Я составлю явку с повинной. Если преступления несерьезные, тебе за них срок не дадут. Они пройдут по делу, и все. Материальный ущерб возместить придется, зато совесть будет чиста.

Кум говорил, внимательно наблюдая за Петровым. А когда кончил, то Коля, подумав немного, сказал:

– Говорите, срок не дадут. Вот дурак, почему не совершил хотя бы еще одну кражу. А сейчас бы рассказал, а вы бы повинную состряпали, и мне бы срок не дали.

– Нет, ты меня неправильно понял. За преступления, которые ты совершил, сажать тебя или освобождать, будет решать суд. Я говорю, если ты добровольно расскажешь о нераскрытых кражах, тебе за *это* срок не дадут.

– А-а-а, понял-понял. Я-то думал, если хоть в одной краже признаюсь, меня вообще освободят. Не-е-ет, тогда зачем признаваться, да еще денежный ущерб возмещать.

– Значит, у тебя есть нераскрытые кражи, раз так говоришь. Давай, рассказывай. – Кум взял авторучку. – Я запишу, может, и ущерб возмещать не придется.

– Надо подумать, – Коля давно заметил на столе пачку «Казбека». – Да, надо подумать. Я волнуюсь. Вдруг не вспомню. Не дадите закурить?

– Закуривайте, – добродушно сказал Кум и открыл перед ним пачку.

Вместо одной Коля взял две папиросы и одну сунул в карман. Прикурив, затянулся, сдвинул брови и чуть погодя сказал:

– Да, одну вспомнил, – и посмотрел на Кума.

– Рассказывай.

– Прошлым летом я полмешка овса с поля тяпнул.

– Да нет, – перебил его Кум, – я не о таких кражах спрашиваю.

– А-а-а, понял-понял, – Коля снова затянулся, – вам убийства, изнасилования надо?

– Да не обязательно убийства. Кражи, кражи, я говорю.

– Ну а убийства, изнасилования можно?

– Ты что, и о таких преступлениях знаешь? Был участником?

Коля задумался, глотнул дыма, почесал за ухом и сказал:

– Был участником и сам совершал. Вы повинную точно сварганите?

– Точно. Это моя работа. Говори, – и Кум взял авторучку.

– Прошлым летом мы чужих кроликов убивали и в лесу жарили. Вкусные, черти. А есть еще и изнасилование. Курицу, – Коля сделал паузу, – я того.

Кум в недоумении смотрел на Петрова. Никто ему таких явок с повинной не делал. А Коля в душе хохотал. Чтобы не рассмеяться, упал со стула и задергался в «припадке», пуская изо рта слюну.

Кум вышел в коридор и сказал разводящему, чтоб ребята помогли Петрову выйти из кабинета.

Когда Миша и цыган вошли в кабинет, «припадок» у Коли кончился. Они взяли его под руки и, уводя, сказали Куму:

– Он у нас того...

В камере Коля рассказал, как сыграл у Кума роль дурака. На короткое время он заставил малолеток обратить на себя внимание. Он был герой на час. Но дальше все пошло по-прежнему: его угнетал цыган. Но теперь цыгана часто одергивал Миша, говоря:

– Вяжи, в натуре, ты с ним надоел.

И все же ребята смотрели по-другому на Петрова. Смеху это не нравилось. Он боялся, а вдруг Камбала выше него поднимется.

В стране был модным танец шейк. Коля как-то сказал, что умеет его танцевать. Его попросили сбацать. И каждый день под аккомпанемент ложек, кружек и шахматной доски он стал танцевать шейк. А ребята пели песню.

И Смех развлекал камеру. У него – неплохой голос, и он, аккомпанируя на шахматной доске, исполнял песни. Его любимая:

А я еду, а я еду за туманом,  
За туманом и за запахом тайги.

Некоторые слова изменены, и он пел:

А я еду, а я еду за деньгами,  
За туманом пускай едут дураки.

Иногда ребята занимались спортом. От табурета отжимались. Говорили, что никому не отжаться сто десять раз, если начинать с одного, потом обходить вокруг табурета и от подхода к подходу увеличивать отжимания по одному до десяти, а затем уменьшать и дойти до одного, Коля уверенно сказал: «Смогу», и слово – сдержал, И опять – герой на час.

Коля долго не мог уснуть. Лежал с головой под одеялом. Начал засыпать. Вдруг шепот. Сон сняло. Михаил с цыганом переговаривались. Коля стянул с головы одеяло и посмотрел: виден цыган. Он лежал на боку и что-то разглядывал. Потом сказал: «На», – и протянул Мише небольшую, блестящую, сильно отточенную финку.

Коля напугался: «Настоящий нож».

Миша спрятал финку.

– Федя, что-то Смех оборзел. Он кнокает Камбалу. А Камбала-то лучше его. Он просто с деревни. Давай, скажи ему, если Смех шустрнет, пусть стыкнется. Я уверен, Камбала замочит ему роги.

– Давай. Я балдею, когда дерутся.

– Буди его.

Федя взял с вешалки шапку и бросил в Петрова.

– Камбала, Камбала, проснись.

Коля откинул одеяло.

– Чего?

– Слушай, Камбала, – начал Миша, привстав с кровати. – Что ты боишься Смеха? Не бойся. Можешь стыкнуться с ним. Мы не встрянем.

– Не кони<sup>[2]</sup>, Камбала, мы разрешаем тебе, – поддакнул цыган.

Не подслушай их разговор, Коля не поверил бы.

На следующий день он ждал, когда рыпнет Смех.

После обеда Смех крикнул:

– Камбала, подай газету!

Коля не среагировал.

– Ты что, Камбала, оглох?!

– Возьми сам, – спокойно ответил Коля.

Смех подскочил и взял за грудки.

– Обшустрился?

– Убери руки, – и Коля оттолкнул его.

Смех отлетел, но опять пошел на Петрова, сжав кулаки.

Парни наблюдали. Подойдя вплотную, Смех волю рукам не дал, а вылил на Колю ушат блатных слов и отошел.

Больше Смех к Коле не приставал, и он почувствовал облегчение: с него свалился камень. Но камней еще четыре.

И все не свалишь. Тем не менее решил без согласия Миши и цыгана осадить Васю. Вася спокойный деревенский паренек. Но он на Колю не рыпал. И Коля предложил побороться. Вася отказался.

– Что ты, Василек, не хочешь, – сказал Коля и, смеясь, приподнял его и бросил на кровать.

Миша и цыган загоготали.

– Вот это да! – восхищенно сказал Миша.

– Он скоро и до тебя доберется! – почти выкрикнул цыган, имея в виду Колиного тезку.

– Я ему с ходу роги обломаю, – отозвался тезка.

Он мог и цыгану роги обломать.

За две недели Коля постиг азы тюремной жизни. Ознакомился с жаргоном и выучил десяток лагерных песен.

У малолеток на тюрьме закон: забыл закрыть парашу – получай кырочку. Коля поначалу забывал, но через шею запомнил быстрее.

Миша – по второй ходке. По хулиганке подзалетел. Вася и Колин тезка – за воровство, а цыган – за разбой. Смех с друзьями обокрали столовую: съели несколько тортов и прихватили конфет. На прилавке калом вывели: *ФАНТОМАС*.

Шла серия фильмов о Фантомасе, и преступность среди малолеток подскочила. Насмотревшись приключений, ребята воровали и хулиганили. Друг Смеха покатался на ментовской машине и оставил записку: *ФАНТОМАС*.

Петров спросил Мишу.

– Как живут в зоне пацаны, если отец – мент?

– А зачем тебе? – парировал Миша. – У тебя что, отец – мусор?

– Да нет. У меня есть друг, из района, и у него отец – участковый. А парня скоро посадят. Как ему в зоне придется?

– Кто его знает. Был у нас на зоне такой. Чухой жил.

Петров интересовался потому, что его отец – бывший начальник милиции.

У малолеток два раза в месяц отоварка на десять рублей. Коля, его тезка и Вася денег не имели. Деревенские. У городских – Миши, цыгана и Смеха – деньги на квитках были. Подследственные, кто жил в Тюмени, где и находилась тюрьма, через следователей поддерживали связь с родителями. И родители присылали.

Подследственным малолеткам два раза в месяц – передача. Пять килограммов. Продукты принимали нескоропортящиеся. Передачи получали только городские, поскольку родители рядом.

В камерах, бывало, собирались одни городские, и у них – избыток еды.

Стояла злая зима. Коля только раз сходил на прогулку, сильно замерз, и больше идти не хотелось.

На тюремном дворе десять прогулочных дворишков. Малолетки в день гуляли два часа, взрослые – один. В морозные дни ни малолетки, ни взрослые больше двадцати-тридцати минут не выдерживали. Замерзнут – и в камеру.

Прогулочные дворики, как и стены туалетов, обрызганы раствором под шубу. Над некоторыми натянута сетка, чтоб заключенные не перекидывались записками, куревом, да мало ли еще чем.

Сегодня Коля – дневальный. Когда он принимал масло, то самый большой на вид кусочек – а масло формы не имело – сунул в карман. Для себя. А пять положил на стол.

Сели завтракать. Одной порции масла не хватает. Коля забыл, что оно в кармане, и сказал:

– Ребята, одного масла недодали.

– Стучи. Пусть дает, – сказал Миша.

Коля постучал. Пришел работник хозобслуги.

– Не может быть, – сказал он, – я хорошо помню, что дал шесть порций.

И Коля вспомнил: масло – в кармане. Как быть? Сказать? Что тогда будет? Скажут – проглот. И присудят морковок, кырочек, банок.

Так думал Коля, доказывая работнику хозобслуги, что одну порцию он недодал. А работник молчал, что-то соображая, и масла давать не хотел. Масло жгло Коле ногу. Он думал, что работник хозобслуги скажет: «А ну-ка выверни карманы».

Ребята зашумели.

– Ты, в натуре, говоришь тебе: одного не хватает, давай, – рявкнул Миша, вставая из-за стола.

Работник хозобслуги ходил за маслом.

Парни завтракали. Коля поглядывал на карман – не топырится ли?

Все обошлось. Масло после завтрака Коля спрятал в матрац, чтоб в кармане не растаяло, и решил вечером выбросить в туалете.

Открылась кормушка, и надзиратель крикнул:

– Петров, приготовься с вещами!

Колю забирали на этап. «Слава Богу. Наконец-то», – подумал он и стал сворачивать постель.

– Ну, Камбала, на двести первую тебя<sup>[3]</sup>. Когда вернешься – к нам просись. С тобой веселей, – сказал цыган.

«Вот пес, – подумал Коля. – Чтоб ты сдох, хер цыганский». Но сказал:

– Конечно, буду проситься.

Коля сдал постель и переоделся в вольную одежду.

Этапников сводили в баню и закрыли на первом этаже в этапную камеру. До ночи на нарах, потом – на этап.

В полночь этапников принял конвой из солдат.

И снова – «Столыпин». Вроде такой же с виду вагон, а внутри перегородка от пола до потолка сплетена, как паутина, из толстой проволоки. Если б Коле раньше показали такой вагон, он подумал бы: для перевозки зверей.

Вагон не был забит до отказа, и Коле нашлось место. Два часа – и Петров в Заводоуковске. В родной КПЗ.

Новое здание милиции построили недавно. Здание – двухэтажное, полуподвальное помещение занимает КПЗ. В ней пять камер. Заключенных закрыли, и Коля, разостлав одежду на нарах, бухнулся на нее.

В этот день к Бородину – начальнику уголовного розыска – Колю не вызывали.

### 3

Коля жил в селе Падун. Падун – в пяти километрах от районного центра города Заводовска. В село приехал из маленькой деревеньки. Колю воспитывала улица, и к пятому классу его два раза исключали из школы, но по ходатайству отца принимали вновь. А из восьмого выгнали окончательно.

Восьмой класс он окончил в вечерней школе, но экзамены сдать не сумел – завалили на геометрии. Он понимал: учительница Серова сделала это по указанию директора школы Ивана Евгеньевича Хрунова.

Хрунов ненавидел Колю и желал ему только одного: тюрьмы.

Всем восьмиклассникам Серова ставила по геометрии тройки, хотя многие не знали таблицы умножения. Только ему поставила двойку.

Когда пацаны пригласили его угнать мотоцикл у Серовых и покататься, зная, что Серовы в отпуске, он согласился. Мотоцикла в амбаре не оказалось, и Коля предложил обворовать дом ненавистной учительки. Подобрал ключ, открыл замок, и пацаны зашли в дом. Коля взял пиджак мужа учительницы, черные кожаные перчатки и грампластинки. И еще вытащили из радиолы лампы и предохранители для своих друзей Танеева и Павленко.

Уходя, чиркнул последнюю спичку, и она высветила в сенках накрытый брезентом «ижак». Но угонять его ребята не стали, и Коля, попросившись с пацанами, – они ничего себе не взяли, – с добычей пошел к цыганам. Пластинки и перчатки цыганам не нужны, зато понравился пиджак, и он сменял его на светло-серый свитер.

От цыган Коля пошел – краденое домой нельзя нести – к другу Петьке Клычкову. Петьке шел двадцать первый год, но в армии он еще не служил. Работал в совхозе трактористом и с Колей иногда ходил воровать.

С десяток пластинок, самых лучших, Петька отобрал для себя, свитер взял и перчатки тоже, пообещав завтра бутылку поставить. Коля согласился – дороже никто не купит.

Оставшиеся пластинки Коля отнес знакомым и подарил. Там его часто угощали водкой.

Лампы и предохранитель от радиолы он отдал друзьям, Саньке Танееву и Мишке Павленко. Мишке рассказал, что обтяпал дом Серовых.

У Коли кличка – Ян. Кличку дали в третьем классе. Как-то Колю с его дружкой старшеклассники пригласили в свой класс. Когда начался урок, пацаны спрятались под парты. Как только учительница истории объявила, что сегодня расскажет о чешском национальном герое полководце Яне Жижке, в бою потерявшем глаз, парень достал Колю из-под парты за шиворот и сказал:

– А у нас свой Ян Жижка.

Светлана Хрисогоновна разрешила Коле и его другу сесть за парты и прослушать урок. С того времени Колю стали звать Ян Жижка, но через год-другой фамилия полководца отпала и его кликали просто: Ян.

Многие в селе, особенно приезжие и цыгане, не думали, что у парня есть имя. Для них он – Ян, Янка. Да и сам он привык к своей кличке, и по имени его только дома называли.

Со старшими пацанами Ян лазил по чужим огородам – «козла загонял» – и на спиртзавод за голубями. Но вскоре превзошел своих учителей и приноровился красть покрупнее: в школу не раз залезал, приборы из кабинета умыкивал, а потом и вещи из школьной раздевалки потягивать стал и загонять цыганам по дешевке.

К пятнадцати годам совершил с десяток краж, но милиция поймать его не могла.

Много раз милиция хватала по подозрению, но он ни в чем не признавался, и отец, бывший начальник милиции, забирал его из КПЗ.

Очень Ян любил охоту и с десяти лет бродил по лесу с ружьем. Дичи убивал мало, но наблюдал за повадками птиц. Когда охотился на уток и подходил к старице – если неподалеку на верхушке березы сидела сорока, она начинала трещать, и утки заплывали в камыши. Сорока уткам помогала. Но сороки и другие птицы помогали и Яну: когда середь бела дня надо было залезть в школу, вначале прислушивался к птицам: если птицы вели себя спокойно и сорока не трещала, незаметно проникал в школьный сад – там сейчас точно никого нет. Из сада через форточку залезал в школу.

А когда шел на дело ночью, наблюдал за кошками. Если кошки собрались и чинно сидят, уверен – поблизости живой души нет. А если кот стремглав неся навстречу, прятался: с той стороны, откуда кот рванул, человек шел.

Ян решил уехать в Волгоград и поступить в ПТУ. В Волгограде жила старшая сестра Татьяна с семьей. Но свидетельства за восьмой класс нет. С такими же неудачниками, как и сам, с Робкой Майером и Геной Медведевым, договорился выкрасть из школы чистые бланки свидетельств, поставить печать, заполнить и предъявить в ПТУ.

Разбив окно, залезли в директорский кабинет, перевернули все вверх дном, но чистых бланков не нашли. Тогда взяли в канцелярии свидетельства прошлогодних восьмиклассников.

Соскоблив лезвием бритвы фамилию и дату, Ян попросил знакомую девчонку, отличницу, – она заполняла в прошлом году эти бланки, – своей рукой написать его фамилию. Девчонка вписала, потому что Яна поддержал ее брат, а он был в долгу перед Яном – Ян помог ему совершить одну кражу. Девчонке в благодарность Ян подарил ее украденное в школе свидетельство.

Но вскоре Яна милиция заграбастала: он оставил отпечаток левого указательного пальца в кабинете директора.

Начальник уголовного розыска, капитан Федор Исакович Бородин, колот Яна, но тот стоял на своем: «В кабинет директора я не лазил».

– Но как ты оставил отпечаток пальца, если в кабинет не лазил, – в сотый раз повторил Бородин, показывая заключение дактилоскопической экспертизы.

Два дня Ян раздумывал в КПЗ и сознался, рассчитывая, что у директора ничего не сперли. Про Робку и Генку Ян молчал, и его отпустили. «Интересно, – подумал он, выходя из милиции, – знают ли они о краже свидетельств? Если знают, поступать по ним учиться нельзя. Надо достать другие».

И Ян с Робертом и Геной пошли в соседнее село Старую Заимку и залезли в школу, но бланков не нашли. В память о посещении старозаимковской школы прихватили три магнитофона и проигрыватель, и на берегу реки У к спрятали их: тащить шестнадцать километров не захотели.

Родители Роберта Майера были немцы, во время Великой Отечественной высланные из Поволжья в Сибирь. Немцев в Падуне и отделениях совхоза жило много. Они имели должности, и никто из них возвращаться на родину, в Поволжье, не хотел.

Трудолюбивые, они построили себе великолепные хоромы и жили припеваючи. Усадьбы немцев отличались от всех остальных чистотой и порядком. Немцы между собой были очень дружны.

Еще в Падуне и отделениях совхоза жило много сибирских татар.

Надо привезти магнитофон, и Ян вызвался достать лошадь.

В полдень он – у сельсовета. Около библиотеки стоят две кауры. Одна запряжена в телегу, другая – в таратайку. «Вот эту и возьму. На ней лихо можно скакать», – подумал Ян и расстегнул рубашку. «Кобыла», – заметил он. Лошадь взнуздана. «Ну, давай!» – приказал себе

Ян. Он отвязал вожжи, прыгнул в таратайку и хлестнул кобылу по правому боку вожжами. Она с местахватила рысью. Ян снял рубашку и набросил на голову – чтоб не узнали. Сзади раздался пронзительный женский крик.

– Сто-о-о-ой!

Оглянулся. За ним, махая косынкой, бежала полноватая женщина.

– Беги-беги, – сказал себе Ян и хлестанул концами вожжей по крупу лошади. Та пошла махом.

Настроение у Яна упало. Хотелось угнать лошадь незамеченным.

Промчался мимо магазина и за пекарней свернул вправо – в улицу Школьную. «Куда дальше? Не гнать же мимо дома». И он решил ехать на лягу. Дорога разбитая. Колеи. Кобыла перешла на рысь. «Ну и пусть. Погоня позади».

Прохожих навстречу не попадалось. «Отлично». Когда пересекал Революционную, въезжая в улицу Новую, по большаку шли знакомые женщины. «Вот черт! А может, не узнали?»

– Пошла-а-а!

Каурая понеслась рысью, и Янкина загорелая спина исчезла за клубами пыли.

На ляге, в березняке, Ян оставил таратайку, а лошадь перевел через У к и привязал возле старицы, заросшей тальником, березами и черемухой. В это место вела одна тропинка.

Лесом пошел домой и переоделся. Надо показаться. Если узнали, возьмет участковый.

Только появился у сельсовета, участковый вышел на улицу.

– Опять нахулиганил, – сказал Салахов.

«Все, пропало», – подумал Ян.

– Заявление на тебя лежит. Чего ночами горланите?

«Значит, не знает. Слава Богу! О чем он несет?» – подумал Ян, но сказал:

– Какое заявление? Кто написал?

– Пошли, покажу.

Ян двинулся в сельсовет. Салахов – следом.

Участковый запер дверь на ключ.

– Куда угнал лошадь? – твердо сказал он, садясь за стол. – Говори.

– Какую лошадь? Вы че! – возмутился Ян.

– Подлец!

Салахов знал: с Петровым бессмысленно разговаривать. Снял трубку телефона и соединился с милицией.

– Петров у меня. Не сознается. Приезжайте.

Паду некий участковый, лейтенант Салахов, в селе жил несколько лет. Он мордастый, лет сорока, с родимым пятном на всю правую щеку.

Ян – в кабинете начальника уголовного розыска, капитана Бородин. Стоит и переминается с ноги на ногу. Бородин – за столом. Голубые, чуть прищуренные глаза капитана живо бегают по Петрову. Ян выдерживает взгляд. Бородин закурил и сказал:

– Ну и наглый ты, Колька! – Помолчал, почти выкрикнул: – Хватит! Говори, где лошадь?

– Лошадь? Я что, пахать на ней буду?

– Для кого ты ее угнал? Цыганам?

– Не угонял я и с цыганами связь не держу.

Бородин курил, и видно было – нервничает. Вдруг резко встал и подошел к Яну.

– Не угонял, не угонял. Угнал ты! Сейчас отправлю в камеру и будешь сидеть, пока не сознаешься.

Яна увели, но не в камеру, а в дежурку. Он сел у окна.

Вскоре захотелось есть, и он посмотрел в открытое окно на хлебный магазин. По дороге на велосипеде медленно ехал бывший одноклассник, и Ян окликнул его. Парень не услышал.

– Чего орешь? – спросил дежурный.

– Да жрать хочу. Знакомого увидел. Хотел, чтоб он купил булочку.

– А-а-а! Сиди-сиди. Жрать не получишь, пока не сознаешься.

В дежурку заходили и выходили милиционеры, отлучался дежурный, и, чтобы Ян не сиганул в открытую дверь, его отвели в КПЗ. Сажать в переполненные камеры – а их было две – не стали...

Не успел осмотреться, как в первой камере поднялась резиновая накладка, что закрывает глазок, и веселый молодой голос спросил Яна:

– За что тебя?

Ян смотрел на глазок. В нем не было стекла, и блестящий от света глаз зека, не моргая, разглядывал его.

– *За лошадь. Сказали, я угнал.*

– Да ты что! В наше время паровозы угонять надо.

В обеих камерах раздался взрыв смеха. И Ян засмеялся. Зеки соскочили с нар и столпились у дверей. Всем хотелось посмотреть на пацана, в наше время угнавшего лошадь.

– Вот отпустят тебя, – продолжал все тот же голос, – и ты испарься. Возьми да угони паровоз.

В камерах опять загоготали. Засмеялся на этот раз и дежурный. Он предложил Яну сесть на стул. Мужики из камер расспрашивали его, откуда он, как там, на воле, и, узнав, что он из Падуна, посоветовали на угнанной лошади привезти им бочку спирта.

В разговорах прошло часа два. Ян молча сидел и думал. Сознаться, что угнал лошадь, не позволяла воровская гордость. Он ещё ни в чем и никому добровольно не признавался. Эх, ничего из этой затеи не получилось. Лошадь стоит привязанная. Его попутали.

В КПЗ вошел молодой сержант и увел Яна к Бородину. Тот стоял у окна. Повернувшись, сразу начал:

– Сознаешься или нет?

– Не угонял, не угонял я!

– Эх, – капитан вздохнул, – тяжелый ты человек, Колька. – Он пристально посмотрел. – Нашли лошадь-то. – Бородин помолчал. – Можешь идти.

Ян, обрадованный, выскочил из милиции, подобрал у вокзала окурок, прикурил и потопал вдоль железной дороги домой, думая, где бы достать лошадь.

Гена Медведев у знакомого заготовителя выпросил на ночь лошадь, и с Яном съездили за магнитофоном и проигрывателем.

Ян взял себе магнитофон и отнес к Клычковым.

Сегодня, когда солнце стояло в зените, у Яна начался зуд в воровской душе. Ему захотелось чего-то украсть.

И продать. Чтоб были деньги. Но что он может стибрить днем в своем селе?

Он вспомнил, где что плохо лежит, но ничего припомнить не мог. Воровская мысль работала лихорадочно, и наконец его осенило: надо поехать в Заводоуковск и угнать там велосипед. Его-то цыгане с ходу купят. И дадут за него половину или хотя бы третью часть. «Значит, – подумал он, – рублей около двадцати будет в кармане».

С утра Ян ничего не брал в рот и почувствовал томление голода. «Вначале надо пойти домой и пожрать». Но жажда угона завладела им полностью и переборолла голод. «Вначале стяну, продам, а потом порубаю».

В город на автобусе он не поехал. На всякий случай. Зачем лишний раз рисоваться перед людьми, идя на дело.

Ян сунул руки в карманы серых потрепанных брюк, поддернул их, сплюнул через верхнюю губу и затопал по большаку, оставляя сзади шлейф пыли.

Перед концом села свернул влево, закурил и пошел через Красную горку. Жадно затягивался сигаретой и ускорял шаги. Хотелось побыстрее прийти в Заводоуковск и свистнуть велик. Душа трепетала. Жаждала кражи. Он готов был бежать, но надо экономить силы: вдруг получится неудачно и придется удирать. Он был весь обращен в предприятие и не замечал благоухающей природы. Природа ничто по сравнению с делом. Вперед! Вперед! Вперед!

Он бродил по улицам Заводоуковска, высматривая, не стоит ли где велосипед. Но велосипеда нище не было.

Дойдя до хлебного магазина, он с волнением остановился. Около магазина прислоненный к забору стоял новенький, сверкающий черной краской велик. Янкино сердце сжалось от радости – потому что стоял велосипед, от страха – потому что рядом милиция. «Что делать? Сесть и уехать. А вдруг выйдет хозяин?»

Из магазина никто не выходил. «Черт, как будто специально. Вот я только возьму, он выйдет, схватит меня и поведет в милицию. Пока будет вести, я так жалобно скажу: «Дяденька, я только хотел прокатнуться». А он в ответ: «В милиции объяснишь, куда хотел прокатнуться». Перед самой дверью подумает: все, привел, – и ослабит руку. Я будто в дверь, а сам как рвану в сторону. Попробуй-ка догони». Ян стоял между милицией и хлебным магазином. «Стоп! Да ведь меня видно из окон ментовки. Вот дурак, что же я стал? Или угонять, или уходить, или стоять, но не угонять».

Ян трусил.

Но тут вышел хозяин велосипеда с хлебом в сетке, повесил на руль и уехал. Ян глубоко вздохнул. Выдыхал медленно, и так часто и сильно стучало сердечко, что ему показалось, будто кто-то за ним наблюдает и знает, что угнать велик не удалось. «Вот сука», – выругался он неизвестно в чей адрес.

Вновь рыскал по городу, но без пользы. Ротозеев мало, а кто и оставлял велосипед без присмотра, то ненадолго. Смелости Яну не хватало.

День клонился к концу. Чертовски хотелось жрать. По мере того как усиливался аппетит, возрастало и желание угнать велик.

Страсть угона дошла до того, что он с ненавистью смотрел на весело катающихся пацанов: они дразнили его.

Ян брел, притомленный от бесплодного рыскания. На пустой желудок и курить не хотелось. Вдруг, не дойдя до рынка, увидел около большого пятистенного дома с резными ставнями прислоненный к забору желтый велосипед. Усталость исчезла, вмиг притупился голод, и, дойдя до угла рынка, он пошел вдоль забора.

Забор высокий, и что делается во дворе – не видно. «А вдруг выйдут?.. Не бздеть. Щас или никогда!»

Медленно подошел к велику. На случай, если кто выйдет, приготовил разговор. Шагнет навстречу и спросит:

«Толя дома?»

«Какой Толя?»

«Он говорил прийти за голубями».

«Не живет здесь Толя».

«В каком он доме живет? У него голубей много».

«Не знаю».

Ох, этот страх – Ян никак не решится. Секунды кажутся минутами. Сердце вырывается из груди. Взгляд застыл на никелированном руле. «Ну...» Шагнул, расслабился, и стало не так страшно – первый преступный шаг сделан.

Велосипед в руках. Ведет не торопясь. Не поворачивая головы, смотрит по сторонам. Немного отойдя, спокойно, будто это его велосипед, садится и тихо крутит педали. Ехать тяжело. Дорога песчаная. Пересек улицу, и песок кончился. Прибавил скорость. Хотелось огля-

нуться, не вышел ли кто из ограды. Но не стал. Скорее за угол – в другую улицу. Вот и поворот. Никелированные педали замелькали, и его полосатая рубашка сзади надулась пузырем. «Надо свернуть в другую улицу. Так... Еще в другую...»

Мимо мелькали дома и люди. Он мчался к переезду. «Надо ехать тише».

Въехав в лес, с облегчением вздохнул. Ноги ломило. Вдруг услышал сзади рокот мотора. «Мотоцикл!» Соскочив с велосипеда, схватил за раму и, перепрыгнув канаву и отбежав немного, упал на молодую прохладную траву. За канавой, деревьями и кустами его не видно. Мотоцикл поравнялся с ним. Ян по звуку определил: Иж-56 или «Планета», – и приник к траве. Ему не видно, кто едет и с коляской ли мотоцикл. Его щека плотно прижалась к траве, ему хотелось раствориться, слиться с зеленью и стать невидимым. «Если ищут меня, то смотрят по сторонам, – подумал он и стал молить Бога: «Господи, помоги, пронеси, пусть проедут». Живо представил: на мотике едут двое. Второй, что сзади, привстал на седле и, вертя головой, разглядывает кусты. «Боже, пусть не заметят, помоги хоть раз...» Ян немного верил в Бога и, когда надо было украсть, просил у Господа помощи.

Мотоцикл протарахтел. Ян все так же лежал. Понял: ехали быстро. «Значит, за мной. А может, нет. Если б за мной, ехали бы еще быстрее. Но быстрее здесь не проехать. Что делать? Встать и уйти в лес? Нет, нельзя. Вдруг развернутся и поедут назад. Надо лежать. Ждать. Доедут до Падуна и вернуться. Может, все же в лес уйти? А вдруг уже едут?» Прислушался. Нет, тихо. Он лежал, не поднимая головы. Можно оставить велосипед и убежать в лес. Но страх приковывал к земле. Да и жалко бросить велик.

В глазах одна зелень: трава, ветки, кусты. Голубого неба не видно. Рядом никого, но все равно боязно поднять голову.

Со стороны Падуна раздалось гудение мотоцикла. Ян вцепился в траву, будто это притягивало его к ней плотнее. И опять, как прежде, мольба: «Господи, помоги!»

Звук мотора удалился. Прошла минута, другая...

Выждав немного, встал. Воровски озираясь, поднял велосипед. Перенес через канаву. Прислушался. Тихо. Поехал.

Когда въезжал в Падун, смеркалось. Проехав село, с радостью и надеждой завел велик к цыганам. В расстегнутой красной клетчатой рубашке вышел Федор, за ним в длинных ярких платьях – его сестра и жена.

– Федор! Новый велосипед. Купи.

– Откуда он?

– Не из Падуна, конечно.

– Ну а все же, откуда?

– Из Заводоуковска.

– На него уже есть заявка?

– Да нет еще. Я только сегодня.

– Так будет.

– Прекрасите.

– Нет, Янка, не нужен.

Ян подумал, что Федор хочет купить за бесценок, и продолжал расхваливать велосипед. В разговор вступили женщины, они тоже говорили, что на велосипед будет заявка и потому они не возьмут.

– Да дешево я. Сколько дашь? – спросил Ян.

– Нет, нет, Янка, нет.

– Ну десятку...

– И трояк не дадим. Куда он нам? Попробуй другим продать.

Но и в другом месте велосипед брать не стали, хотя он просил за него всего пятерку.

Съездил еще к двоим, но и они отказали, боясь с ним связываться. Никто не хотел рисковать.

Яну надоело ездить на велосипеде, он взял за руль и повел по улице. Встретились знакомые, им предложил, но они и слушать не стали.

Душа разрывалась. Велосипед в руках, и никто не покупает. «Чем выбрасывать, лучше оставлю у кого-нибудь, а потом, может, продам», – решил Ян.

Навстречу шел Веня Гладков, возле его дома на лавочке всегда собирались пацаны.

– Здорово, – начал Ян.

– Привет.

– Ты куда направился?

– Домой. Сейчас парни придут. А велик у тебя откуда?

– Да... по пьянке достался. Новый. Нравится? Купи.

– На кой он мне? У меня же есть.

– Да недорого.

– Все равно.

«Понял, конечно, что ворованный», – подумал Ян.

– Слушай. Мне сейчас в одно место надо. Велик мешает. Пусть у тебя постоит. Можешь загнать. За пятерку. Пойдет?

Веня соображал. Потом спросил:

– А откуда он?

– Не из Падуна.

– Ну, оставь.

Они подошли к Вениному дому. Ян завел велосипед в ограду, а сам с разбитыми, взъерошенными чувствами поплелся домой.

Дня через два Ян встретил Веню. Он рассказал, что в тот вечер пацаны собрались на лавочке, и он за пятерку предлагал велосипед. Никто не взял. А утром велосипеда в ограде не оказалось. Кто-то увел, понимая, что он ворованный.

«А может, – подумал Ян, – Веня велик себе оставил. На запчасти. Ну и Бог с ним».

Ян с Робертом и Геной решили залезть еще в одну школу. Подальше от Падуна. Так и сделали. Уехали на поезде километров за шестьдесят, в Омутинку. Но опять неудача: свидетельств о восьмилетнем образовании не нашли. Уходя из омутинковской школы, взяли в качестве сувенира спортивный кубок. А когда ехали домой, около станции Новая Заимка избили мужчину, забрав у него дешевые вещи, но не найдя денег.

Через несколько дней Падун облетела новость: в Новой Заимке недалеко от железнодорожной станции бандиты зверски избили мужчину, и на другой день он скончался.

Отец Яна работал, бригадиром вневедомственной сторожевой охраны от милиции, а их сосед, Дмитрий Петрович Трунов, был в подчинении у отца – работал сторожем на складах спиртзавода.

До весны этого года Ян с Дмитрием Петровичем дружил. Вместе ходили по грибы, ягоды, и частенько Дмитрий Петрович угощал Яна бражкой. Отменную, надо сказать, умел готовить брагу Трунов. В нее всегда добавлял ягод, и Ян, когда пил, ягоды не выплевывал, а цедил брагу сквозь зубы и в конце концов закусывал хмельными ягодами, хваля бражку и Дмитрия Петровича.

Дмитрий Петрович – а ему шел седьмой десяток – разговаривал с Яном на равных и, как многие мужики в Падуне, не считал его за пацана. Однажды Трунов перепил Яна и ему показалось: он тоже молодой, сила кипит и играет в нем, и он пригласил Яна в огород побороться. Ян верткий: в школе – один из лучших спортсменов.

– Пойдем, – согласился Ян, и они пошли в огород.

В огороде у Дмитрия Петровича росла малина.

Земля мягкая, сплошной чернозем, и Ян, как только сошелся с Труновым, с ходу положил того на лопатки.

Дмитрий Петрович – среднего роста, чуть тяжелее Яна, и когда они сошлись во второй раз, Ян приподнял его и бросил в чернозем. Трунов встал и, не веря, что его швырнул пацан, предложил сойтись в третий, последний раз. И тут Ян, случайно, кинул Трунова в малину, и он оцарапал лицо. Отряхнувшись, сказал:

– Я пьяней тебя, потому и поборол. Пойдем по ковшику тяпнем – и продолжим. Все равно уложу.

Дмитрий Петрович налил Яну полный ковш, а себе стакан. Ян закусил хмельными ягодами и подумал: «Пожалуй, после этого ковша я пьянее буду и он поборет меня. Ну и бог с ним. Земля мягкая».

Дмитрий Петрович, выпив бражку, крикнул, вытер тыльной стороной ладони губы и посмотрел в зеркало. Лицо – оцарапано, он ахнул и понес Яна матом. До того разгорячился, что, крикнув: «Застрелю!» – побежал в комнату, схватил со стены ружье и, зарядив, шагнул в кухню.

Увидев Трунова с ружьем, Ян выскочил в сени и захлопнул дверь. Прогрохотал выстрел, и дробь, пробив обитую тряпьем фанеру, шурша, покатила по пустотелой двери. Ян знал: ружье у Трунова одноствольное, шестнадцатого калибра, и можно отобрать его, пока не перезарядил, но он испугался – ружья, а не Дмитрия Петровича – и ломанулся в огород. Отбежал на порядочное расстояние, когда Дмитрий Петрович вышел на высокое крыльцо и крикнул:

– Убью, щенок!

Ян на бегу оглянулся. Трунов – целился. Прикинул: на таком расстоянии дробь достанет, и, волной перекатившись через прясло, упал на землю. Раздался выстрел. Вскочил и кинулся прочь. Отбежав, остановился и посмотрел на Трунова. Тот стоял на крыльце, ругался и махал ружьем, как палкой. Обошел огороды и приблизился к дому Трунова с улицы: хотел узнать, уgomонился ли Дмитрий Петрович, а то, чего доброго, пожалуется отцу.

Увидев Яна – он был метрах в сорока, – Трунов вскинул ружье. Ян, предвидя это, встал за телеграфный столб. Выстрела не последовало. По улице шли люди, и, когда они поравнялись с телеграфным столбом, выглянул: Дмитрий Петрович стоял на крыльце, поставив ружье к ноге, и прикуривал.

Вскоре Дмитрий Петрович Трунов уехал в отпуск. С Яном помирился и угостил остатками бражки.

– Я новую поставил, – Дмитрий Петрович показал на десятилитровую стеклянную бутылку, – приеду – готовая будет.

Ян решил бражку украсть – обида на Трунова не прошла.

Однажды, когда стемнело, через огороды прошел в ограду Трунова и притаился. Прислушался – тихо. Прохожих не слышно.

Взойдя на высокое крыльцо, осмотрел улицу. Полная луна заливала ее бледным светом. Вдалеке лаяли собаки.

Достав из кармана связку ключей, еще раз оглядел улицу. Ни души. Молодежь в клубе. Старики греют старые кости дома.

Как всегда перед кражей, пробормотал воровское заклинание: «Господи, прости, нагрести и вынести». Но ни один ключ не подошел. Ломом срывать замок не стал – утром все узнают: замок виден с улицы.

Дмитрий Петрович – участник войны, брал Германию и рассказывал Яну, какой у немцев порядок. Особенно Трунову у немцев понравился лаз на чердак из дома, а не как у русских – с улицы, и, когда строил дом, сделал из сеней лаз на чердак.

Отыскав на дворе лестницу, вынес в огород, поставил к торцу дома и влез на слив, держась за край. Сломав ударом ноги доску на фронтоне, хотел пролезть на чердак, но печная труба проходила рядом и помешала. Сломал еще несколько досок, проник на чердак и чиркнул спичкой. В двух шагах от него – лаз. Потянул крышку – поддалась.

Спустился. Откупорил бутылку и, чуть наклонив ее, глотнул бражки и разжевал ягоды. «Некрепкая, – подумал он, – не нагулялась еще». И стал цедить сквозь зубы, чтоб не попадали ягоды.

Вытерев рукавом серой рубахи губы, закурил и сел на табурет. Приложился еще к бутылке и, захмелев, решил осмотреть комнату. «Может, – подумал он, – найду ружье».

Ружье не нашел, но отыскал боеприпасы. Еще попались сталинские облигации, Хрущевым замороженные. Выходя из комнаты, потехи ради снял с гвоздя старую фетровую шляпу, нахлобучил и перепоясался офицерским ремнем.

Залез на чердак и, светя спичками, принялся осматривать. Чердак пустой, только посреди стоял громоздкий старинный сундук. «Как же это Дмитрий Петрович умудрился его впереть? Лаз – маленький, сундук – большой», – подумал Ян.

Откинул крышку, чиркнул спичку и увидел в сундуке незавязанный мешок, а в нем – кубинский, розовый, тростниковый сыпучий сахар. Работая сторожем на складах спиртзавода, Трунов брал его. «Что ж, – подумал Ян, – сахар я у тебя, Дмитрий Петрович, конфисковываю. Бражку делать не положено, сахар воровать – тем более. Ведь не пойдешь заявлять в милицию, что у тебя бражку и ворованный сахар украли. Эх, Дмитрий Распетрович, едрит твою едри, что мне возразишь, а? Нечем крыть? Нечем. То-то. Отдыхай себе во Фрунзе. А-а-а, ты можешь заявить, что у тебя украли облигации. Но ведь их нельзя сдать на почту. Так что милиция облигации разыскивать не будет. Еще шляпу и ремень у тебя стянули. Неужели думаешь, что менты шляпу, в которой только вороне яйца высиживать, искать будут? А ремень участковый тебе отдаст свой. Так, все в ажуре».

Одному бражку и сахар не утащить, и Ян пошел к Петьке Клычкову.

У Клычковых в двух комнатах ютилось девять душ. Почти вся посуда – алюминиевая, чтоб дети не били, а на лужках нацарапаны имена, чтоб пацаны не путали, а то, бывало, дрались, если кому-то не хватало.

С месяц назад, когда Яна в очередной раз выпустили из милиции, он с Петькой на радостях напился, и тот его уложил спать в маленькую летнюю комнату. На окно, а оно выходило в огород, Петька прибил решетку, чтоб никто не залез, так как здесь хранил запчасти от тракторов.

Ночью разразилась гроза. Ян проснулся, привстал с кровати – на ней вместо сетки были настланы доски, и, ничего не видя в темноте, подумал: «Где же я нахожусь?» На улице лил дождь. Сверкнула молния, высветив в окне решетку, и загрохотал гром. «Господи, – подумал Ян, увидев в окне решетку, – опять в милиции». В подтверждение мыслей снова сверкнула молния, и Ян вдругорядь в окне увидел решетку. Она такая же, как и в КПЗ. Беспомощно опустился на доски, и они подтвердили – он на нарах.

Вспомнил весь день: «Так, утром меня выпустили из милиции. Я в Падун рванул. До обеда дома. Потом на пруду купался. Потом встретил Петьку, и он бутылку взял. Пошли к нему. Выпили. Потом бражку пить стали... Потом...» Ян не помнил, что было потом, и радостно вскочив с кровати, сообразил: спит в летней комнате Клычковых.

В шляпе, надвое подпоясанный ремнем, шел по спящему селу. Дом Клычковых. Постучал в окно комнаты, где дрыхнул Петька.

Зайдя в кухню, сел на табурет, а Петька спросил:

– Откуда?

– Выпить хочешь? – Ян на вопрос ответил вопросом.

Петьке хотелось спать. Но коль разбужен, сказал:

– Хочу. А че?

– Бражку.

Петька сквасил губу: надоела ему бражка и спросил:

– Где она?

Ян тихонько рассказал, и они пошли.

В доме Трунова приложились к бутылки, спустили ее и, сбросив мешок с сахаром, поставили лестницу на место и двинули к Петьке.

Там они снова пили, курили и посмеивались над Труновым.

Ян в порядке опьянел и рассказал об облигациях. Петька не обрадовался и молчал, когда Ян считал их.

– Тысяча, тысяча сто, тысяча двести... две тысячи... три тысячи триста семьдесят пять. Все.

Ян положил облигации на край стола и тяпнул бражки.

У Клычковых на кухне не было дверей, и дверной проем занавешивался застиранным ситцем в горошек. Петькина мать просунулась и слушала, как Ян считает. Ей казалось – деньги. Поняв, что они кого-то обворовали, тетя Зоя, не поднимаясь с кровати, сказала:

– Янка, ты уж Петьку-то не обдели.

Они засмеялись, и сын объяснил матери, что Ян обчистил хату и взял бражку, сахар и замороженные облигации.

Тетя Зоя разочаровалась: не будет Петьке этих тысяч, и сказала, чтоб сахар из дома унесли.

– Да не будет хозяин в милицию заявлять, что, дурак он, скажет, что у меня ворованный сахар и из него же приготовленную бражку украли, – убеждал Петька мать.

Но тетя Зоя настояла.

Оставив у Клычковых брагу, боеприпасы, шляпу и офицерский ремень, Ян сунул облигации за пазуху и отнес сахар тете Поле, матери друга. Друг второй год служил в армии.

Тетя Поля приготовила бражку. Ян потягивал ее, забегая в гости.

## 4

Роберт и Гена рванули учиться в Новосибирск, а Ян на другой день дернул в Волгоград. Долго выбирал училище, но наконец выбрал: шестое строительное. Взял документы и пошел поступать.

Войдя в училище, хорошо запомнил, где выход, чтоб не перепутать двери, если заметят подделку и придется, выхватив у секретаря документы, удирать. Но все обошлось, и Яна зачислили в пятую группу на каменщика.

До начала занятий – месяц, и Ян на поезде поехал в Падун. За свои пятнадцать лет он несколько раз ездил по билету, а так всегда катил на крыше поезда или в общем вагоне на третьей полке, прячась от ревизоров. У него был ключ, он его спер у проводника, и Ян на полном ходу мог проникнуть в вагон или вернуться на крышу.

К железнодорожному транспорту Ян привык: три раза сбежал из дому и курсировал по стране. Бывал в детских приемниках-распределителях. Как-то зимой поехал из Падун к тетке в Ялуторовск. Билет стоил сорок копеек, но он решил сэкономить. На крыше холодища, и у него озябли руки. Стал дышать на них сквозь варежки, и варежки обледенели. Когда поезд въехал в Ялуторовск, взялся за скобу, но поезд в этот момент затормозил, и Ян полетел на землю. Упал на колени и, вскочив, побежал от поезда в сторону, на бегу соображая, живой ли он. «Живой, раз думаю. А целы ли ноги? Целы, раз бегу».

Раз Ян в училище поступил, ворованные вещи решил в Волгоград отправить. Но встала задача: как краденое у Клычковых забрать? Ведь Петька ничего не отдаст. Он на шесть лет старше, сильнее и всегда обманывал: вещи себе оставлял, а Яна водкой или бражкой поил. «На этот раз, Петька, – подумал Ян, – я обману тебя».

Узнав, что Петька дома не ночует, поздно вечером к Клычковым заявился.

– Тетя Зоя, – сказал он, вызвав на улицу Петькину мать, – я кое-что прослышал. Салахов в последнее время очень мной интересуется. Как бы он про последние кражи не узнал. А то докопается, да придет к вам с обыском, а вещи-то они вот. Надо их перепрятать.

Тетя Зоя почувяла: Ян врет, – с вещами не хотелось расставаться, и сказала:

– Петьки сегодня не будет. Завтра на тракторе приедет и все в другое место перевезет.

– Тетя Зоя, – горячо заговорил Ян, – мне бы не хотелось вас подводить: вдруг участковый с утра нагрянет? И влетим.

Хоть и жалко тете Зое краденых вещей, и с магнитофоном расставаться не хочется, но сын в опасности, и она отдала, оставив цыганский свитер, серовские перчатки и грампластинки. За них Петька водкой расплатился. И еще у Клычковых остались боеприпасы Трунова. О них тетя Зоя не знала.

Ян перетаскал вещи к тете Поле, а на следующий день попросил у приятеля велосипед и за несколько рейсов свозил их и учебники для девятого класса в Заводоуковск, на вокзал, упаковал и отправил багажом, тихим ходом, в Волгоград.

Положив квитанцию на сданные вещи в сигаретницу, закурил, сел на велосипед и покатил. Около милиции услышал крик:

– Петров, стой!

Развернулся и подъехал. Около дверей – падунский участковый.

– Где ты пропадаешь? Весь день тебя ищем. Пошли.

Прислонив велосипед к стене, последовал за участковым.

Он привел в кабинет начальника уголовного розыска.

– А-а, Петров, наконец-то! – громко сказал Бородин. – Признаешься или опять будешь запираешься?

Ян смотрел на Бородина и молчал. В чем признаваться? За два с небольшим месяца совершил около десяти краж и теперь не знал, о какой спрашивает начальник уголовного розыска.

– В чем признаваться, Федор Исакович?

– Учительницу Серову кто обокрал?

– Учительницу Серову знаю, и мужа ее тоже. Дом стоит по большаку. А что их обворовали, не слышал.

– Хватит ломаться. Нам все известно.

– Если известно, зачем спрашиваете?

– В КПЗ его, – махнул рукой Бородин.

Ян спустился в дежурку. Участковый сказал старшему сержанту:

– По сто двадцать второй его<sup>[4]</sup>. – И вышел.

Молодой чернявый старший сержант улыбнулся Яну:

– Опять к нам? Выворачивай карманы.

Вытащил сигаретницу, брелок с ключом зажигания от мотоцикла, спички и вывернул карманы. Всю эту мелочовку надо внести в протокол. Ян взглянул на сигаретницу – она лежала на столе – и сердце ускочило в пятки: в сигаретнице – квитанция на сданный багаж. В багаже – ворованные вещи. Пришел в себя и посмотрел на старшего сержанта. Тот, кончив писать, взял спички и проверил, нет ли чего в коробке. Потом открыл сигаретницу, посмотрел на сигареты и квитанцию, подоткнув под резинку, и, взяв брелок с ключом, стал разглядывать. Брелок – маленький черт – показывал сержанту дулю.

– Все на мотоцикле гоняешь? – спросил дежурный.

– Да нет, отец его зятю подарил, чтоб я не разбился.

Когда Яну было тринадцать лет, отец, хотя и получал мало, раскошелился и, чтоб сын поменьше рыскал с пацанами, купил в кредит за триста пять рублей мотоцикл М-103 – «козел». Мать Яна, работая сторожем, получала меньше мужа. Но Петровы, как и почти все в селе, имели домашнее хозяйство и существовали за его счет.

Однажды Ян на мотоцикле чуть не попал под машину, и отец подарил мотоцикл зятю.

«Господи, – молил Ян, – помоги, пусть не возьмет квитанцию».

Дежурный продолжал разглядывать брелок.

– Мотоцикла у тебя нет, а что ключ носишь? Угонами занимаешься?

– Это ключ зажигания от велосипеда, – улыбаясь, пошутил Ян. – Он у меня около милиции стоит. Я на нем приехал.

Дежурный, оценив шутку, тоже улыбнулся.

– Никола, мотоцикла у тебя нет, подари брелок, ты себе где-нибудь стащишь.

Сигаретница лежала открытой, квитанция просилась дежурному в руки, а он вертел брелок. Скажи сейчас Ян, что нет, не подарю, – дежурный запишет брелок в протокол и его вернут, когда Яна выпустят. Но Ян готов подарить дежурному с себя все, лишь бы он побыстрее защелкнул сигаретницу и закончил составлять протокол. Помедлив несколько секунд, как бы набивая цену, Ян великодушно произнес:

– А, брелок – забирай. Я себе лучше достану.

Дежурный отцепил от брелка ключ зажигания, положил его в сигаретницу и защелкнул ее. Брелок сунул в карман.

– Распишись, – сказал дежурный, записав сигаретницу в протокол.

Ян расписался и сказал:

– Товарищ старший сержант, у меня велосипед стоит возле входа, ты заведи его в ограду, а то стащат.

– Ладно, будет сделано.

Он отвел Яна в КПЗ.

Ян попросил у мужиков закурить и, отвечая на вопросы, откуда он и за что его взяли, думал: «Нештяк. Черт побери. Черт! Ты же спас меня! Ведь если б дежурный развернул квитанцию, я погорел бы сразу на нескольких кражах. Пусть никто мою сигаретницу не открывает и квитанцию не смотрит. Господи, по-мо-ги!»

Начальник уголовного розыска несколько раз вызывал Яна на допрос, но Ян ни в чем не признавался и, отвалявшись два дня на нарах и выспавшись, был выпущен. Отъехав на велосипеде подальше, открыл сигаретницу: квитанция на месте, и нажал на педали. Надо быстрее вернуть велосипед приятелю.

С Робертом и Геной Ян несколько раз встречался. Оказывается, парни в Новосибирске поступили учиться тоже в профтехучилище номер шесть. Ян проводил их на поезд, а на следующий день уехал сам.

## 5

С первого сентября Ян пошел учиться в училище и в девятый класс вечерней школы.

Вдали от дружков, от Падуна его не тянуло на воровство. В большом городе не так бросалось в глаза, что люди с работы чего-то тащат. А в Падуне жители были на виду, и Ян видел, как многие, даже уважаемые в селе люди с работы перли все, что было можно. И плох считался тот мужчина, кто не прихватил хотя бы дощечку. В хозяйстве и она пригодится.

Вечером Ян сидел дома и смотрел телевизор. В квартиру позвонили. Открыл дверь. На пороге стоял лейтенант Насонов. Оказывается, заводоуковский уголовный розыск просил помощи у своих волгоградских коллег. Заводоуковских ментов интересовали вещи из двух домов. Их Ян обчистил в Падуне. Участковый поговорил с сестрой Яна Татьяной и ушел ни с чем. А краденые вещи здесь лежали. Явись Насонов с санкцией прокурора на обыск, без труда бы нашел.

Участковый поговорил и с теткой Яна, и отослал заводоуковскому уголовному розыску ответ: Петров в Волгоград ворованных вещей не привез.

Ян захотел замести следы и написал письмо Петьке Клычкову. Просил его подбросить боеприпасы на балкон участковому или потерпевшему в ограду. Ян думал, если Петька так сделает, с него снимается одна квартирная кража: раз боеприпасы подброшены в Падуне, то и вора будут искать там.

Яну радостно жить в Волгограде: такой большой город, и он – его житель. А завтра, в воскресенье – он услышал по телевизору – на Мамаевом кургане будут открывать памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы. Из Москвы выехала правительственная делегация во главе с Генеральным секретарем Леонидом Ильичом Брежневым. У Яна забилося сердце: завтра поедет встречать правительственный поезд и увидит Брежнева наяву, а не на фотографиях или по телевизору. Об этом всем друзьям в Падуне расскажет.

В воскресенье проснулся рано. Позавтракав, поправил перед зеркалом галстук, – на нем изображена обнаженная девушка, – и заспешил на электричку.

Сошел на станции Волгоград-1 и поднялся на перекидной мост, сверху оглядывая перрон. Перрон чисто подметен, и по нему расхаживали всего несколько человек. Где же люди? Почему никого нет? На привокзальной площади людей тоже немного. А ведь здесь всегда полно народу. Хотел пойти на вокзал, но, увидев трех милиционеров на углу, понял: людей туда не пускают.

Обошел привокзальную площадь и подошел к вокзалу с другой стороны. Но и там наряд милиции. До Яна дошло: на перрон не попасть и правительственный поезд не встретить. Всеходы и выходы перекрыты. «Неужели не посмотрю Брежнева и всю правительственную делстацию? Ладно, – решил он, – чтоб не прозевать поезд, буду ходить по мосту». Покуриив, поднялся по обшарпанным ступенькам на мост и стал расхаживать, давя косяка на перрон. Там стояли два генерала.

Подошел средних лет мужчина в штатском.

– Парень, хватит гулять. Давай отсюда.

Спустился с моста и больше не поднимался. Бродя около вокзала и шмаляя сигареты, прислушивался к разговорам празднично одетых людей и вскоре узнал: не он один хотел бы встретить правительственный поезд. Желающих много. Всем хотелось посмотреть Брежнева, Гречко и других военачальников.

Молоденькая женщина объяснила Яну: правительственная делегация вначале остановится на часок-другой в гостинице «Интурист» или «Волгоград» и, подкрепившись, поедет на Мамаев курган по улице Мира, а потом свернет на проспект Ленина.

Ян ушел с привокзальной площади на улицу Мира и стал ждать. Там кишмя кишело радостных людей. Жители города-героя, возбужденные, ждали правительственную делегацию. Все движение городского транспорта в центре приостановлено. Усиленные наряды милиции и солдат прохаживались по улицам.

Со стороны главной площади показался бронетранспортер. В нем стоял генерал-полковник Ефремов и в правой вытянутой руке держал горящий факел. От него на Мамаевом кургане в зале воинской славы зажгут Вечный огонь.

Бронетранспортер, а за ним и правительственные машины приблизились. Народ ликовавал, повсюду слышались возгласы приветствия. Ян стоял в толпе и, так как был невысокий, Брежнева не видел.

Он потопал на вокзал, сел в отходящую электричку и поехал на Мамаев курган. Но электропоезд шел только до «Второго километра», одну остановку не доезжая.

Ян вышел из вагона и пошел по шпалам. Подойдя к мосту – под ним проходила авто-трасса, – увидел: по ней медленно едет бронетранспортер с генерал-полковником Ефремовым, а следом — «Чайка». В передней машине с открытым верхом стоят четыре человека и машут ликующему народу руками. «Чайка» подъехала ближе, и Ян отчетливо видит Брежнева. Он поднял перед собой сомкнутые руки и машет ими, благодаря жителей Волгограда за теплый прием. Других двоих Ян не знал. А сзади всех, немного сгорбившись, стоит министр обороны Советского Союза маршал Гречко.

Машины проехали, и Ян тронулся дальше.

К главному входу на Мамаев курган он решил не идти, а свернул, как только достигли подножия.

Сбоку маячила игла городской телевизионной вышки, и он сквозь пожелтевшие листья деревьев, посаженных на кургане после войны, поглядывал на нее. Пиджак давно снял – день выдался по-летнему жаркий, и он готов был сбросить рубашку и брать вершину Мамаева кургана в одной майке.

На полдороге к памятнику-ансамблю людей, поднимавшихся на курган, остановили солдаты. Они цепочкой отсекали путь к вершине, где стояла пятидесятидвухметровая скульптура «Родина – Мать».

Прямо перед собой он увидел бетонную площадку. Это был дот или дзот – он не знал, что это. На площадке стояли человек десять, в основном мужчины. Они курили и уговаривали солдат, чтоб их пропустили на открытие памятника-ансамбля. Солдаты непреклонны и готовы лечь костями, но людей не пропустить.

Народу у бетонной площадки собралось человек пятьдесят. Кто-то включил транзисторный приемник – передача об открытии мемориала началась. Голос из приемника подхлестнул Яна, и он спрыгнул с бетонной площадки. Дальше шел крутой спуск. Возле него стояли солдаты. Он подумал: если всем разом кинуться с этого спуска, то солдат можно смять и прорваться на торжество. Пусть многих поймают, но за себя он уверен: солдаты, обутые в сапоги, его не догонят.

Все больше людей, мужчин и женщин, подходили к спуску и уговаривали солдат. Но они выполняли приказ и пропустить никого не могли. Тогда Ян решил: оттолкнув солдата, с криком «за мной!», будто в атаку, ринулся с крутизны. А за ним и многие ломанулись.

Несся стремительно. Бежать вниз – легко. Он выставил перед собой локти и сшиб несколько солдат. Прыжки достигали трех и более метров. Едва касался земли, отталкивался и, чудом минуя деревья, летел вниз. Спуск кончился. Он думал – все, убежал. Но только вышел из кустарника, увидел впереди шеренги солдат. Они опоясывали Мамаев курган, и пробраться

на торжество ни с какой стороны было невозможно. Он оглянулся: за ним шли около десяти мужчин. Остановился и подождал. Из кустарника выходили люди. Всего стало человек пятнадцать. Ян затесался в середину, и толпа пошла к шеренгам солдат. Мужчина, что шел впереди, спросил:

– Кто у вас старший?

– Сейчас придет, – ответил ефрейтор.

Появился майор. Молодой, среднего роста, не строгий на вид.

– Так, товарищи, – обратился он к прорвавшимся, – спускайтесь за железную дорогу. Здесь находиться нельзя.

– Товарищ майор, нас немного, пропустите. Хотим открытие посмотреть, – сказал мужчина, что старшего спрашивал, и Ян, чтоб лучше слышать разговор, подошел.

– Не могу, – ответил майор. – Вход по приглашительным билетам.

– Мне очень надо. Я даже обязан там быть. Мой отец погиб здесь, на Мамаевом кургане.

– Где вы работаете?

– В школе, директором.

Ян посмотрел на директора. На лацкане черного пиджака красовался поплавок с открытой книгой.

– Что же вы не смогли достать приглашительный билет?

– Не смог. Конечно, директор тракторного завода присутствует, присутствуют директора «Красного Октября» и «Баррикад» и их дети. Но нам-то, нам как туда попасть? Чем мы хуже других?

Майор молчал.

По громкоговорителям слышны выступления участников-торжественного открытия мемориала. Сейчас несся рыдающий голос Валентины Терешковой, и Ян очень жалел, что не увидел первую в мире женщину-космонавта.

Майор повторил приказание:

– Отойдите, товарищи, за железную дорогу. Нельзя здесь стоять.

Из толпы вышел высокий, крепкий мужчина в сером костюме, со светлыми, свисающими в разные стороны волосами и, не называя майора по званию, начал говорить:

– Что вы за железную дорогу гоните, пропустите на открытие – и дело с концом. Я из Сибири специально приехал, а попасть не могу. В сорок втором здесь, на Мамаевом кургане, руку оторвало, а теперь бегаю и штурмую его, чтоб на открытие прорваться. Бежал, чуть протез не потерял.

Мужчина протянул майору руку-протез – пусть убедится. Ян взглянул на защитника и увидел на груди орденские планки и орден боевого Красного Знамени. Мужчина продолжал:

– Мы от немцев Мамаев курган обороняли, а вы от нас. Не смешно ли?

– Подойдите, товарищ, к главному входу. Вас в виде исключения, может, и пропустят, – сожалая, сказал майор.

– Да был я, – махнул здоровой рукой герой войны, – сказали: по приглашениям, и только. Вот и подался в обход.

Майору стыдно – защитника Мамаева кургана на открытие не пускают, и он исчез. Солдаты принялись уговаривать людей, чтоб спустились ниже на одну шеренгу. Толпа, поколебавшись, спустилась. Теперь другие солдаты принялись избавляться от нее. Ян понял: солдаты отвечают за свой коридор.

Постепенно люди, теснимые солдатами, отошли к железной дороге и разбрелись кто куда.

Ян сел на землю и закурил.

Когда открытие Мамаева кургана закончилось, устремился вверх. Возле зала воинской славы военный духовой оркестр. Музыканты складывали ноты и инструменты, собираясь ухо-

дять. Чуть поодаль ходили саперы, прослушивая миноискателями землю. «Боятся, чтоб взрывчатку не подложили».

Ян вернулся домой. Мужики сидели возле дома на лавочке и обсуждали открытие Мамаева кургана. Они видели по телевизору. Ян услышал: Брежнев с первого раза Вечный огонь в зале воинской славы зажечь не смог. Он потух. И лишь со второго раза вспыхнул.

## 6

Год назад, когда Ян жил в Падуне и учился в восьмом классе, ему понравилась девочка из шестого. Звали ее Вера. Когда Яна выгоняли с уроков, он шел к дверям шестого класса и наблюдал за ней. Она сидела как раз напротив дверей на последней парте у окна и всегда, как казалось Яну, внимательно слушала объяснения учителей, не глядя по сторонам. У нее были коротко подстриженные черные волосы и задумчивые, тоже черные, глаза.

Директор школы, видя, что Ян слоняется по коридорам, иногда заставлял его дежурить в раздевалке вне очереди, отпуская дежурных на уроки. Все равно Ян болтается, уж пусть лучше дежурит, а то в раздевалке вещи пропадают. Директор заметил: если в раздевалке дежурил Ян, вещи не пропадали. А это просто объяснялось: во время дежурства Ян не крал вещи и дружки его тоже воздерживались. Кроме того, он в раздевалку никого не пускал, а всем одежду подавал в руки, боясь, что и в его дежурство могут что-нибудь стащить.

Ученики вешали одежду по классам. У шестого класса была шестая вешалка, а у Веры – второе место, и оно для Яна было священным. Оставшись в раздевалке один, подходил к Вериному пальто, прижимался щекою к воротнику, вдыхая его запах, а потом надевал ее серые трикотажные перчатки и ходил в них. Иногда подходил к дверям шестого класса и ждал, когда Вера повернет голову в его сторону. Тогда поднимал руки и показывал ей: надел ее перчатки. На перемене она шла в раздевалку и забирала их. Раз как-то попробовал надеть ее бордовое, с черным воротником пальто, но оно было слишком мало, и он побоялся – вдруг разойдется по швам.

После занятий ученики бежали в раздевалку, стараясь первыми получить одежду и, столпившись у решетчатой двери, кричали: «Ян, подай мне пальто!» – и называли место. Он в первую очередь подавал одежду тем, кого знал хорошо. Но если сквозь решетку замечал Веру, – а она стояла матча, – сразу брал ее пальто и подавал через головы столпившихся.

Когда Ян учился в младших классах, учителя его за баловство иногда били, а однажды посадили в подполье. Хорошо, что быстро выпустили, а то он начал банку с вареньем открывать.

В старой деревянной школе, построенной до революции, доживала свой век престарелая учительница, Калерия Владимировна. Она обучала жителей Падуна грамоте с начала двадцатого века. Многие ее ученики кто на войнах погибли, а кто и так умер. Вот ее-то варенье Ян чуть и не съел.

Директор школы за баловство покрикивал на Яна, но только до седьмого класса. После памятного педсовета никогда не повышал голос.

Два раза педагогический совет за плохое поведение исключал Яна из школы. Первый раз, когда учился в четвертом классе, второй, когда в пятом. Отец ездил в районный отдел народного образования, и приказом «сверху» Яна принимали в школу. В седьмом классе решили третий раз исключить, и сказали явиться с отцом или матерью. Тогда на педсоветах защищал отец, на этот раз решил прийти один и дать учителям бой.

В назначенное время подошел к учительской. Преподаватели решали свои вопросы. Дверь отворилась, и вышел директор школы. Иван Евгеньевич сказал:

– Подожди. А почему без родителей?

– Их нет дома, – соврал Ян, – они в Ялуторовск в гости уехали.

Ян отошел от учительской и остановился возле дверей, они вели на второй этаж. Из дверей решил вытащить замок.

Его давно интересовали замки: хотел понять конструкцию, чтоб открывать отмычкой. Нашарив в кармане однокопеечную монету, стал выворачивать нижний шуруп. Тот легко поддался. Верхний выкручивался туго, и он, покорпев, все же одолел его. Вытащив из гнезда замок, сунул в карман, а тут директор вышел и позвал Яна.

С замком в кармане вошел в учительскую. На стульях вдоль стен сидели около сорока учителей.

– Сейчас будем обсуждать поведение Петрова. Его два раза исключали из школы, и, наверное, пришло время исключить в третий раз. Очень плохо, что на педсовете на этот раз не присутствует его отец, – взял слово директор.

Отец Яна и директор школы не перебаривали друг друга. Лет десять назад Алексей Яковлевич крепко поругался с братом Ивана Евгеньевича. Тогда они вместе работали. И эта ругань с братом повлияла на отношения директора и родителя.

Хрунов долго характеризовал Яна, а когда закончил, Ян спросил:

– Мне можно?

– Да.

– Иван Евгеньевич, вы сказали, что я хулиганю и не даю проводить учителям уроки. Но ведь я не один срываю уроки. Но это ладно. Я о другом. Вы вором меня называете, и здесь я не согласен. В сад за малиной не я один лажу, но неужели Это воровство сильно большое? вспомните чего-нибудь покрупнее? – Ян сделал паузу. Директор молчал. Он не знал ни одной крупной кражи. Иван Евгеньевич проговорил:

– Трех краж и попыток, которые я сейчас перечислил, достаточно.

Ян продолжал:

– Это все мелкие кражи, я вот сейчас оглашу одну покрупнее. Ее совершил ваш сын.

Учителя зашумели, но Ян крикнул:

– Потихе! Несколько лет назад ваш сын снял с вешалки «москвичку» Дедова, а свою, старую, оставил. Мать Коли Дедова опознала на вашем сыне «москвичку» и в присутствии ребят распорол подкладку, вытащив тряпочку с фамилией и именем своего сына. Так кто крупнее ворует, я или ваш сын?

Ян бросил директору и педсовету правду. Такой случай был. Иван Евгеньевич думал, что ответить, но его жена, Ольга Амосовна, учитель домоводства, опередила и, не вставая, громко сказала:

– Ты лжешь! Наш сын не брал чужой «москвички».

– Ольга Амосовна, мать Коли Дедова может это подтвердить.

Иван Евгеньевич ничего к словам жены не добавил и сказал:

– Кто хочет выступить?

Поднялась учитель физики. Она жила недалеко от директора, и ей хотелось защитить Ивана Евгеньевича.

– Вот тебе, Коля, всего тринадцать лет, а я пьяным тебя видела.

Ян не стал выслушивать Антонину Степановну и перебил:

– Пока что я не пью. Вы меня со своим мужем перепутали. Это он часто нажирается и, как свинья, в лужах валяется. Не надо про мужа рассказывать.

Из учителей никто в защиту Антонины Степановны и слово не замолвил. Все знали, что ее муж за рюмку двумя руками держится.

Ян, идя на педсовет, вспомнил, какие грехи у преподавателей водятся, чтоб в случае – осадить.

Следующая учительница тоже хотела что-то сказать, но Ян и договорить не дал:

– А вы-то, вы, – перекричал он ее, – вы-то хоть сидите. Ваш муж капусту с пришкольного участка ворует. Я рано утром пошел как-то на охоту, смотрю, он от школы капусту прет. Я

взял да и выстрелил в воздух, он упал около плетня и притаился. Вы лучше его обуздайте, а то он учеников учит, а сам ворует.

Муж Натальи Дмитриевны тоже работал преподавателем в школе.

Педсовет молчал. Никто не хотел бросить реплику, боясь получить стремительный, убивающий ответ Яна. Наталья Дмитриевна тихонько, чтоб оправдаться перед коллегами за мужа, – а он сидел, понутив голову, – сказала:

– Врет, вот врет, а! И надо же, чего выдумал.

Желающих выступить больше не было. И директор, вместо того чтобы поставить вопрос об исключении Яна из школы и приступить к голосованию, выпроводил его за дверь.

На следующий день Наталья Дмитриевна встретила Яна на улице.

– Коля, зачем ты на Василия Гавриловича наплел такое. Ведь он никогда не воровал капусту.

– Наталья Дмитриевна. Я сам не видел, но мне сказали. А что из ружья пальнул, это для достоверности.

– Я знаю, кто тебе сказал. И знаю, что ты им осенью отнес ворованные вещи.

Ян поплелся сраженный. Оказывается, Наталье Дмитриевне известна одна кража, а ведь его тогда милиция замучила, вырывая признание. Даже прокурор района принимал в допросе участие. «Значит, – думал Ян, – она видела, как я тащил вещи. Ведь я выпивши был и шел по задам мимо ее огорода. Но был же вечер. А может, она как раз во двор выходила, и приметила меня, и проследила. Но, главное, она в милицию не заявила. Пожалела меня и Семаковых. Ведь я же им вещи нес. Но откуда она знает, что про капусту мне сказали Семаковы? Выходит, что Василий Гаврилович правда нес капусту, и Семаковы его видели, и он их заметил. Вот она и догадалась. Да, все правильно, Василий Гаврилович нес капусту».

Летом перед отъездом в Волгоград Ян два раза видел Веру в Падуне. Первый раз – на дневном сеансе в кино, а второй и последний – около магазина. Магазин был закрыт на обед, и она ждала открытия. Вера была в легком платье, и его трепал ветер. Ян остановился невдалеке и любовался ею.

Жила Вера в нескольких километрах от Падуна, и Ян видел ее редко.

В Волгограде Ян затосковал по ней. Хотелось хоть изредка видеть. Но две тысячи километров отделяли его от любимой. И тогда решил написать письмо, но не простое, а в стихах.

Когда Ян был маленьким, отец читал ему детские книжки С. Маршака и К. Чуковского, и он знал их наизусть. В школе лучше всех читал стихи, и ему всегда ставили пятерки. В шестом классе, несмотря на то, что он был самый отчаянный хулиган, учительница, руководитель художественной самодеятельности, пригласила его принять участие в постановке пьесы и отвела второстепенную роль. Он, не стесняясь, согласился и превосходно исполнил роль собаки, надев на себя вывернутую шубу.

В начале восьмого класса начал писать поэму о директоре падунской школы, но, зарифмовав несколько листов грязи об Иване Евгеньевиче, бросил. Иссякло вдохновение хулигана.

Теперь писал письмо в стихах Вере. Он хотел тронуть душу тринадцатилетней девочки.

Здравствуй, Вера, здравствуй дорогая,

Шлю тебе я пламенный привет.

Пишу письмо тебе из Волгограда,

Где не вижу без тебя я свет.

Как только первый раз тебя увидел,

Я сразу полюбил тебя навек,

Поверь, что тебя лучше я не видел,

Короткий без тебя мне будет век.

Хочу тебе задать один вопрос я,  
Ответишь на него в своем письме.  
Ты дружишь или нет с кем, Вера,  
Фамилия его не нужна мне.

Разреши тебя поздравить  
С юбилейным Октябрем.  
И желаю его встретить  
Очень хорошо.

Ян не хотел подписывать письмо своим именем, был уверен: Вера ему не ответит. Вору и хулигану разве может ответить красивая девочка? После стихов приписал: он не из Падуна, а из Волгограда, в Падун приезжал к родственникам, видел ее около магазина, а местный парень сказал адрес и фамилию.

Ян подписал письмо именем и фамилией соседа по коммунальной квартире, мальчишки Женьки.

Хотел надписать конверт, но пришла сестра, и он пошел на почту. Там сел за стол и ручкой, что лежала на столе, надписал конверт, так как свою забыл.

Нежно держа письмо, будто руку Веры, еще раз прочитал адрес и бросил письмо в почтовый ящик.

Придя домой, сестру не застал и сел за стол, глядя в зеркало.

Глаз Яну пацаны выстрелили из ружья, едва ему исполнилось шесть лет. Жили они в Боровинке, недалеко от Падуна. Отец работал директором маслозавода, а мать рабочей, и воспитанием Коли занимался дед по отцу, Яков, почти что восьмидесятилетний сухощавый старичонка с седой бородкой, похожей на козью. Коля не слушался деда и всегда от него убегал на улицу, где со старшими пацанами было куда интереснее. С ними он лазил по чужим огородам.

Все детские воспоминания Коли связаны с воровством. Он не помнил, чтобы маленьким играл в какие-нибудь игрушки, но зато отлично помнил, как шестилетний, наученный пацанами, лазил по крышам и воровал вяленое мясо.

Из всех деревенских детей Коля был самый шустрый. Летом ходил в одних трусах и был загорелый, как жиган. Так его и прозвали – Жиган. В пять лет появилась первая кличка.

Коля очень любил пить на маслозаводе молочную закваску. Наливая закваски, мужики просили его спеть частушки. Он знал их десятки. Частушки запоминал от взрослых. Бывало, у ворот завода соберутся шофера, и Коля устраивает концерты. Они жали ему, как взрослому, руку, хвалили за исполнение и учили новым.

Как-то шофер, помахивая свернутой в трубочку районной газетой – в ней отец Коли, директор маслозавода, опубликовал статью, призывающую труженников района как можно больше сдавать государству молока, чтобы быстрее обогнать Соединенные Штаты Америки в экономическом соревновании, – сказал:

– Жиган, вот тут твой отец о молоке пишет, а ты спой-ка нам тоже про молоко частушку, ну, ту, «перегоним» начинается.

– А-а, – сказал Жиган, – щас.

И спел:

Перегоним мы Америку

По надою молока.

А по мясу не догоним мы,

... сломался у быка.

Мимо проходили пацаны, и Коля пристроился к ним: они шли купаться.

Плывать Коля не умел. Зашел по горло в воду и, сделав шаг, скрылся под водой. Это был омут, он начал захлебываться, но один из пацанов схватил его за редкие волосы и вытащил на берег. Оклемавшись, больше в воду не заходил и, когда ребята вдоволь накупались, пошел с ними на окраину деревни. Там, в небольшом домишке, жил Васька Жуков. Он был самый старший из всей компании – шел ему семнадцатый год – и верховодил местной пацанвой. Коля со своим соседом, тезкой, зашел к нему, сел на голбчик у печки, напротив обеденного стола, а Васька, пошептавшись с Колькой Смирдиным, сходил в комнату, взял одноствольный дробовик и, показав Коле патрон, заряженный только порохом, сказал:

– Поцелуй у котенка под хвостом.

Колька Смирдин, взяв котенка, крутившегося около ног, протянул Коле.

– Не буду, – сказал Коля.

– Если не поцелуешь, я стрелю тебе в глаз. Считаю до трех: рас-с-с... – начал считать Васька.

Что такое ружье, Коля знал, но никак не думал, что Васька в него может стрелнуть.

Васька с Колькой Смирдиным часто издевались над Жиганом: то сажали его на лошадь и пускали ее в галоп, то, когда ватага пацанов бродила по лесу, давили на его голове мухоморы.

Васька зарядил ружье, сел у окна на табурет и, сказав: «Два...» – стал целиться Коле в левый глаз. От конца ствола до лица Коли было два шага. Коля не моргая смотрел в отверстие ствола. Васька, сказав «три», нажал на курок. Но он промазал: целясь в упор, попал ниже глаза, в скуловую кость. Коля сознание не потерял и, посмотрев в испуганные глаза Васьки, сказал:

– Ох, Васька, тебе и будет.

Пацаны подскочили к нему, взяли под руки и вытащили на улицу. Там они стали плескать воду на рану, – а из нее хлестала кровь, – как бы надеясь смыть следы преступления. Коля потерял сознание.

Мать повезла сына в новозаимковскую районную больницу. Ему сделали рентген, но рентген не показал бумажного пыжа, и хирург зашил рану вместе с пыжом. Коля в сознание не приходил» и мать повезла его в областную больницу. В Омск.

На пятые сутки Коля пришел в сознание. Все это время мать не отходила от него и дремала на стуле. Коля спросил:

– Мама, почему я живой – а не вижу?

Медленно, очень медленно зрение возвращалось к Коле.

Но только одного, правого, глаза. А рана на левом не заживала. Бумажный пыж подпер глаз снизу, и он стал вытекать. Тогда врачи сняли швы, вытащили часть пыжа и раздробленную кость. Но глаз так и вытек.

Мать выковыривала порох. Он усеял все его лицо.

Когда Колю выписали из больницы, бумажный пыж – клочок газеты – долго выходил из незаживающей раны.

После этого у матери стали отказывать ноги, и она забывалась. Если шла в магазин, то проходила мимо него, а потом, остановившись, вспоминала, куда ей надо.

Вскоре над пацанами состоялся суд. Колька Смирдин отделался легким испугом, а Ваське Жукову дали три года. Он, отсидев год, досрочно вышел на свободу.

Прикрытое веко левого, незрячего глаза и воронкообразный шрам чуть не на полщеки обезображивали Колино лицо. Иногда закрывал ладонью левый глаз – из зеркала смотрел настоящий Коля. Мать не раз говорила: если смотрит на него с правой стороны – видит сына, с левой – чужого парня. К шраму на лице сына мать привыкнуть не могла.

## 7

К пятидесятилетию советской власти объявили амнистию – Ян прочитал в газете. «Отлично, теперь меня за квартирную кражу не посадят, а об убийстве и других кражах они ни за что не докопаются», – подумал Ян и на несколько дней раньше начала осенних каникул покатил зайцем на поезде в Падун. Там он узнал, что Роберта Майера посадили. Робка еще в сентябре, приехав из Новосибирска, подрался в Падуне с незнакомым парнем. У парня упала шапка, и Робка, подняв ее, перепутал головы: заместо головы парня надел на свою. Парень заявил в милицию, и Робку за грабеж осудили на три года.

Роберт был не один. Рядом с ним стоял его друг, и также друг Яна, Володя Ивлин. Но Володя сразу слинял, и его нигде не могли найти. Менты объявили всесоюзный розыск.

Гена Медведев тоже приехал на каникулы, и Ян с ним неплохо гульнул.

Перед отъездом Ян на большаке встретил участкового.

– Здравствуйте, Николай Васильевич, – приветствовал его Ян, улыбаясь.

Теперь он не боялся участкового – амнистия!

– А, Петров, здравствуй, – ответил участковый, тоже улыбнулся и впервые протянул руку. – Ну как ты там, в Волгограде?

– Хорошо, Николай Васильевич, – продолжая улыбаться, ответил Ян.

– Улыбайся, улыбайся, вот пройдет амнистия, и мы посадим тебя.

Ян ничего не ответил, подумав: «Как они меня посадят, если амнистия. Надо дергать в Волгоград».

В Волгограде Яна ждала приятная новость.

Мать Женьки протянула письмо.

– Что-то мой Женька в Сибирь никому не писал, а письмо пришло, – улыбнулась тетя Зина. – Но я поняла, что это тебе, и распечатывать не стала.

Ян взял письмо и с жадностью прочитал. Вера просила фотографию. Как быть? Не посылать же свою. Тогда ни на одно письмо не ответит. И Ян решил послать Вере фотографию какого-нибудь парня. «Женьки, соседа, нельзя. Он пацан. Надо кого-то постарше. Какого-нибудь парня из училища. Может, Сергея Сычева? Ведь Серега, пожалуй, самый симпатичный из нашей группы».

На другой день Ян попросил у Сергея фотографию. Но тот был, как и Ян, приезжий, и фотографий у него не было.

– Хорошо, – сказал Ян, – а если ты сходишь и сфотографируешься?

– Но у меня денег нет, – сказал Серега, – и приличной одежды – тоже.

Серега жил в общежитии.

– Деньги у меня есть, – подбодрил его Ян, – и рубашку с пиджаком мои оденешь.

Скоро у Яна было пять фотографий Сергея. Одну оставил ему на память, другую вместе с письмом вложил в конверт и послал Вере. В письме – теперь писал его не в стихах – он тоже просил у Веры фотографию.

Приближался Новый год, и Ян, не дождавшись от Веры письма, за несколько дней до наступления каникул поехал зайцем в Падун. Дорога в один конец занимала двое с половиной суток.

Ян объявился в Падуне, и его вызвал начальник уголовного розыска. Сходив в школу на новогодний вечер старших классов и блеснув брюками, сшитыми по моде, на другой день поехал в Заводоуковск в милицию.

Начальник уголовного розыска, Федор Исакович Бородин, предъявил ему с ходу два обвинения: две квартирные кражи.

– Бог с вами, Федор Исакович, никого я не обворовывал. Сейчас честно живу и учусь в Волгограде. Да, раньше был за мной грех, но в эти дома я не лазил...

– Хватит! – прервал его Федор Исакович. – Посиди в КПЗ, подумай.

Яна закрыли в камеру к малолетке. «Странно, почему Бородин меня в непереполненную камеру посадил? Уж не подсадка ли, – думал Ян, – неужели Бородин через этого пацана желторотого хочет о кражах моих выведать? Гнилой номер».

Ян хоть с пацаном и разговаривал, но о себе ни гугу, все парня расспрашивал, за что его посадили. А тот был из Боровинки и Яном не интересовался.

У Яна был опыт: он знал от рецидивистов, что менты подсадок в камеры сажают, чтоб у них, кто в несознанку идет, все о преступлениях выведать и уголовному розыску стукануть. Да и в Падуне Бородин к Яну людей подставлял, они просили у него достать кой-какие вещи, им украденные. Но Ян, когда Бородин его крутил, сказал:

– Вы лучше на Сажина нажмите, он просил меня точно такие вещи достать. Это он обворовал, а не я, так как вначале меня просил, а когда я не согласился, сам обтяпал.

И Бородин злился на Яна, что такого молодого расколоть не может и даже подставные лица не помогают.

А один парень признался Яну, что начальник уголовного розыска просил его разноухать кражу, не является ли ее участником Ян.

Через день Бородин вызвал Яна на очную ставку. Войдя в кабинет, увидел сидящим на стуле Саньку Танеева. Поздоровался, но Санька не ответил. Он сидел, опустив глаза.

С Санькой Танеевым Ян в одном классе учился. И даже последнее время за одной партой сидел. Из школы Яна выгнали тоже из-за Саньки. На уроке физики он катал под партой ротор, и он тархтел, как трактор. Виктор Фадеевич, классный руководитель, сделал Яну замечание. Ян промолчал, а Санька стал еще быстрее катать ротор, глядя в глаза Виктору Фадеевичу.

– Петров, встань! – не выдержав, повысил голос Виктор Фадеевич. – Ты что мешаешь заниматься? Выйди из класса. На перемене зайдешь ко мне.

Под гробовое молчание класса Ян шел к дверям, стуча каблуками. На улице закурил. Стоял конец марта, и солнце топило лед. Легкий ветерок относил дым сигареты, и Ян часто затягивался.

Виктора Фадеевича школьные хулиганы боялись: у него был первый разряд по боксу, и на его уроках предпочитали не баловаться.

Прозвенел звонок, и Ян пошел в лабораторию. Ожидал, что Виктор Фадеевич начнет на него кричать. Но тот спокойно, посмотрев на Яна, спросил:

– Почему мешаешь заниматься?

Ян мог, конечно, сказать, что ротор под партой катал не он, а сосед, Санька, но ведь нельзя выдавать товарищей, и потому промолчал.

– Знаешь, что я тебе предложу: переходи ко мне в вечернюю школу, я приму тебя. А то все нервы учителям вымотал. Согласен?

Виктор Фадеевич был директором вечерней школы, и Ян, услышав от него такое заманчивое предложение, ни секунды не колеблясь, ответил:

– Согласен.

– Ты свободен, – чуть улыбнувшись, сказал Виктор Фадеевич, – вечером приходи на занятия.

Дома Ян сказал отцу:

– Мне предложили закончить восьмой класс в вечерней школе.

– Что ж, в вечерней так в вечерней, – ответил отец.

И четырнадцатилетний Ян стал учиться в вечерней школе.

Санька Танеев сидел в кабинете начальника уголовного розыска и не поднимал глаз. Бородин, оторвавшись от бумаг, посмотрел на Яна.

– Раз не хочешь сознаваться, – сказал он, – тогда выслушай показания свидетелей. Саша, расскажи, – обратился Бородин к Танееву, – что тебе известно о краже в доме Серовых.

Танеев поднял глаза на Бородина и начал:

– Летом я спросил Петрова, не сможет ли он достать лампы от приемника. Он сказал, если попадутся. Через неделю примерно он спросил, какие лампы нужны. Я сказал «шесть А семь» и «шесть пэ на четырнадцать пэ». На другой день он принес.

Прошло так дней десять, и из отпуска приехали Серовы. От них я узнал, что их дом обворовали. Взяли костюм, пластинки, перчатки, запчасти от мотоцикла и все лампы от радиолы. Я с дядей Володей в хорошем отношении и сказал ему, что Петров мне не так давно дал две лампы. Принес их, мы сравнили год выпуска ламп и приемника. Год оказался одинаков. Вот и все.

– Известно ли что тебе о других вещах, украденных из квартиры Серовых? – спросил Бородин.

– Нет, о других вещах ничего не знаю.

Бородин отпустил Танеева и спросил Яна:

– Ну, что теперь скажешь?

– Что скажу, Федор Исакович? Скажу, как и раньше: к Серовым не лазил. А то, что Танеев про какие-то лампы несет, так я ничего не знаю. Он сам, может, залез к Серовым, украл лампы, а теперь на меня клепает. Нет, Федор Исакович, избавьте меня от таких воров-свидетелей.

– Хорошо, я сейчас тебе других, не воров-свидетелей, приглашу, – сказал Бородин и вышел из кабинета.

«Вот, Санька, падла, – думал Ян, оставшись в кабинете один, – я же специально для него лампы из приемника вытащил, а он продал меня Серову, а теперь, козел, дает показания против меня...»

Отворилась дверь, и в кабинет зашел Бородин, следом – Мишка Павленко.

Мишка Павленко был другом Яна, но ни в одном преступлении не участвовал, хотя о многих, даже об убийстве, знал. «Как же он-то попал в свидетели?» – недоумевал Ян.

– Так, – сказал Бородин и сел, – Миша, расскажи, что тебе известно о краже в доме Серовых.

Мишка, посмотрев на Бородина, стал быстро говорить:

– Летом мне Колька дал предохранитель от радиолы, он мне как раз нужен был. Я спросил, где он взял? Он сказал, что обворовал дом Серовых, и там взял.

– Больше ничего не можешь добавить? – спросил Бородин.

– Нет.

– Ну вот, второй свидетель говорит, что в дом к Серовым залазил ты. Сейчас что скажешь?

– Федор Исакович, от прежних показаний не отказываюсь. А что Мишка говорит, так я ни одному слову не верю. Не верьте и вы. Предохранитель ему не давал и про кражу, раз ее не совершал, не говорил.

Ян поглядел на Павленко. Он несмело сидел на стуле. Переть на него Яну – нельзя. Если Бородину в одной краже колонулся, это полбеды, как бы не рассказал про убийство.

– Хорошо, Павленко, иди. Пусть Медведев заходит, – сказал Бородин и закурил.

В кабинет робко вошел Гена Медведев. Его-то Ян тем более не ожидал увидеть свидетелем. Вместе совершили несколько краж и убили мужчину. «Что ж, – подумал Ян, – давай любые показания, лишь про убийство не заикнись».

Бородин, затянувшись папиросой, спросил:

– Гена, расскажи, что тебе известно о краже в доме Серовых?

Медведев говорить начал не сразу. Как-никак на подельника надо клепать. И он, кашлянув, сказал:

– Мне летом Коля говорил, что лазил в дом к Серовым, и взял пиджак, грампластинки, лампы от радиолы и перчатки. Сам я ничего ворованного не видел.

– Ну что, Петров, второй друг на тебя говорит. Тоже врет?

– Не сомневайтесь, врет. Ну и фантазер ты, Генка!

– Иди, Медведев.

Гена покорно встал и закрыл за собой дверь.

– Три человека подтверждают, что дом Серовых обворовал ты. Будешь запираешься?

– Федор Исакович, если я спрошу вас: дом Серовых вы обворовали – сознаетесь?

Бородин не ответил, и Ян продолжал:

– Молчите. Не хотите, как и я, в краже сознаваться, раз в дом не лазили. Вот и я никогда не сознаюсь, потому что я как и вы, в дом не лазил. А потом, все эти показания трех несовершеннолетних свидетелей обличить меня в этой краже не могут. Малолетки они. Почему нет ни одного взрослого? На малолетках хотите выехать. Их показания – филькина грамота.

Ян плохо знал уголовное законодательство, но перед собой гордился, что знает – у отца прочитал несколько юридических книг. Кроме того, отец, когда Яна выпускали из милиции, расспрашивал: за что забирали и какие показания дал. И подучивал. Однажды Коле предъявили заключение дактилоскопической экспертизы – отпечаток указательного пальца левой руки сходится с отпечатком, оставленным на столе директора школы, и он сознался. Отец отругал его и сказал:

– Матерые преступники, если у них совпадает отпечаток только одного пальца, никогда следователю в преступлении не признаются. Бывали случаи: они отрубали себе пальцы и заводили следствие в тупик.

К пятнадцати годам отец перестал драть сына ремнем, поняв: ремнем не воспитаешь. Алексею Яковлевичу было стыдно – сын ворует, и он ничего не может с ним поделать. Пусть хоть тогда не признается в кражах, думал Алексей Яковлевич, подрастет, переберется и не будет воровать. И он натаскивал сына, как вести себя в милиции.

Многое схватил Коля и от рецидивистов в КПЗ.

Бородин отдал приказание, и Яна отвели в камеру.

Утром опять привели к Бородину.

– Вчера ты говорил, что свидетели одни несовершеннолетние, сегодня перед тобой сидит взрослый свидетель.

Ян посмотрел на Терентия Петровича Клычкова, отца Петьки. С Петькой Ян бражку и сахар кубинский, ворованный, из дома Трунова утащили. Терентий Петрович о кражах Яна не знал и ворованных вещей не видел. Кроме магнитофона. Работал он в совхозе на конях, солому и навоз возил, и всегда уставший с тяжелой работы возвращался и рано спать ложился. Почему в свидетели попал он, а не сын – непонятно. Петька все отцу рассказал, и Терентий Петрович давал показания, будто все ворованные вещи Ян при нем приносил, но никто не знал, что они краденые. Про магнитофон молчал. Бородин же не спрашивал.

Перед Яном серьезный свидетель. Взрослый.

– Ну, Колька, что теперь скажешь? – спросил Бородин.

– Хоть сегодня свидетель и взрослый, но врет, как сивый мерин, на котором работает. Воля ваша, верить ему или нет. Я, будь на вашем месте, не поверил бы. Посмотрите на его руки: видите – трясутся.

Бородин взглянул на руки свидетеля. Они и вправду мелко тряслись. А Ян продолжал:

– Значит – врет, потому и трясутся. Вы, Федор Исакович, на мои посмотрите. Видите – не дрожат. А почему? А потому – я говорю правду.

Терентий Петрович не выдержал:

– Янка, изработанные у меня за жисть руки-то, который уж год болят, сколько имя навоза и сена перекидал. – Терентий Петрович чуть помолчал, сцепив, чтобы не тряслись, никогда не отмываемые от навоза руки и, кротко взглянув на капитана, продолжал: – У меня не только руки, но и нутро-то все трясется, как порог милиции переступил. Всю жизнь прожил, а в свидетели не попадал и в милиции не бывал. Да вот через тебя пришлось. Ты, Янка, от всего отпираешься, а вспомни-ка, письмо-то мы от тебя из Волгограда получили. Ты же Петьку просил боеприпасы на балкон участковому или Трунову подбросить. Письмо-то я участковому отдал. Оно ведь твоей рукой написано. Да и пластинки, свитер серый и перчатку одну, правую, черную, кожаную, – она у нас одна осталась, – я тоже участковому отнес.

Терентий Петрович замолчал, глядя себе под ноги, обутые в пимы с галошами. Сейчас он поедет в Падун и сразу на скотный двор – навоз возить.

«Да, закутились Клычковы, – подумал Ян, – когда их участковый припер. Испугались, что Петьку как соучастника и за укрывательство краденого могут посадить».

– Идите, Терентий Петрович, – сказал Бородин.

Клычков вышел, а Ян проговорил:

– Снова повторяю: от своих показаний не отказываюсь. – Ян помолчал, а потом быстро заговорил: – Да и потом, какой это серый свитер Терентий Петрович принес? Вы мне ничего не говорили, что у Серовых или Трунова еще и свитер стащили.

Бородин не ответил, а Ян спросил:

– Вы меня на Новый год отпустите?

– Нет, Колька, Новый год будешь у нас встречать. А то напьешься и чего-нибудь натворишь.

– Завтра трое суток истекает. Если завтра не выпустите – вышибу двери.

Яна закрыли в камеру, а на другой день отпустили.

Дома он рассказал, что ему ставят в вину, и завалился на кровать, накрывшись двумя старенькими пальто.

## 8

Утром пошел по селу, думая, к кому зайти, чтоб хоть с опозданием отпраздновать Новый год. К друзьям идти не хотелось. Бородин расколол их, и они дали показания против него.

Около старого дома, где он раньше жил, его окликнул Павел Поликарпович Быков, инвалид войны. Ян подошел.

– Ну, Колька, как дела? Слыхал – тебя в милицию забирали. Новый год на нарах встретил.

– Да, пришлось, дядя Паша.

– Пошли в дом.

Ян зашел, разделся. Дядя Паша, бывший счетовод совхоза, хорошо к Яну относился и разговаривал с ним как со взрослым.

– Ну ты че, все в Волгограде учишься?

– Учусь.

– На кого, я забыл?

– На каменщика.

– А-а-а... Хороший ты парень, Колька. Ценю я тебя. Все о тебе знаю. И как ты по вагонам на ходу поезда бегаешь, будто по земле, и как милицию за нос водишь. За это люблю даже. Ты, пацан, воруеть, не уступая взрослому, а тебя менты взять не могут. Я всегда в человеке ценю хватку. Сам в молодости шустрым был. Трусов презираю. А ты, ты – молодец.

Дядя Паша, высокий, худой, стоял перед Яном и, задыхаясь от астмы, хвалил его. Потом закурил, закашлялся и стал говорить о себе.

– А моя жизнь плохая. Дети разъехались. Скоро помру. Чувствую, недолго осталось. Болезнь эта. Мне врачи ни курить, ни пить не разрешают. А я курю и пью. И пить, особенно пить буду. Зинка, все из-за Зинки. Она же, стерва, от меня гуляет. Видишь ли, Колька, я ничего как мужчина не могу. Война, болезнь. И она в открытую. И сейчас ее дома нет.

Дядя Паша ругал жену, а Ян слушал, не вставляя слова. Он тете Зине жизнью был обязан. Когда Петровы жили в соседях, вся семья ходила к Быковым мыться в баню. Своей не было. Раз летом – Ян перешел тогда в пятый класс – пошел в баню, только что истопленную. Раздевшись, почувствовал: стало плохо и потянуло спать. «Полежу-ка я», – подумал он и залез на полку. В бане – жарко, но Ян нашел силы, встал и настежь открыл дверь.

Вьюшка закрыта, и Ян угорел. Пришла тетя Зина и заметила в бане открытую дверь. «Надо закрыть, – подумала она, – а то выстынет». Увидев Яна распластанным на полке, вынесла из бани. Ян несколько часов не приходил в сознание, а когда пришел, то у него трещала от угара голова сильнее, чем с похмелья.

Ян и хахаля тети Зины знал. И выпивал с ним. Он тоже воровал и Яна как-то на дело приглашал, и Ян рвался с ним, но в последний момент тот нашел другого. Не хотел, зная отца Яна, с малолеткой связываться.

Дядя Паша продолжал ругать жену.

– Я ни копейки с пенсии ей не отдаю, ни копейки. Не за что. А я ведь неплохую пенсию получаю – семьдесят шесть рублей.

Дядя Паша подошел к вешалке и вытащил из кармана пальто деньги.

– Вот, – махнул он пятерками, – я получил. И все пропью. На, – протянул он Яну пятерку, – сходи в магазин, купи бутылку.

Ян принес бутылку «Столичной». Стоила она три двенадцатой сдачу он отдал дяде Паше.

Выпили по стопке и дядя Паша стал старую жизнь вспоминать, а потом на гражданскую войну перекинулся.

Пили на равных, и дядя Паша рассказывал:

– Я скоро умру, но мне так жаль красноармейцев, которых не спас. Мне лет шесть было. Падун несколько раз переходил из рук в руки. Спирт нужен любой власти. Вот там, – дядя Паша показал в окно скрюченной, изуродованной на войне левой рукой, в правой держа вилку, – там, где сейчас стоит телеграфный столб на той стороне дороги, примерно на том месте стоял пулемет, я в окошко видел, и красноармеец поливал огнем беляков. Он один был, и никого рядом. Долго держался, а потом я не знаю, то ли его убили, то ли в плен взяли, но красных выбили из села, и беляки к нам в амбар несколько красноармейцев закрыли. Ты же знаешь наш амбар, он из добротного леса срублен. Дверь прочная, и красноармейцам ее не вышибить. А беляки даже часового не поставили и ушли. И дверь на замок не закрыли, под рукой его не оказалось, а в запор вставили шкворень. Мне надо было выдернуть шкворень, и красные бы ушли, а я ходил, мялся возле амбара, но так и не выдернул. Испугался.

Дядя Паша выпил стопку. Ян за ним последовал, и дядя Паша, не закусывая и не морщась, будто он не водку, а воду выпил, рассказывал:

– Ну и вскоре белые пришли и ночевать у нас остались. Часового к амбару поставили, но он всю ночь спал у дверей. Утром красноармейцев вывели в огород. Я слышал залп.

Только сейчас дядя Паша закусил квашеной капустой, закурил и продолжал:

– Понимаешь, теперь, когда скоро умру, и сам после того войну прошел, мне до слез жалко тех красноармейцев. Ведь я же, Колька, понимаешь, мог их спасти.

Выпили еще, и дядя Паша о Падуне стал рассказывать.

– Спиртзаводом до революции владел Паклевский. Ты на поездах все ездешь, слышал, наверное, станцию около Свердловска, Талицу. Так вот, она раньше Паклевкой называлась. И жил сам Паклевский там, а сюда раза два в год заявлялся. Здесь, без него, заводом руководил управляющий. Дом его стоял – я еще застал этот дом – около пруда, примерно там, где сейчас барак гнилой стоит. Дом богатый, роскошный был. Дворец да и только. Мраморные ступени вели от дома к пруду. Оранжерея рядом, зимой и летом – цветы. А потом и дворец, и ступени, и всю оранжерею выкорчевали и барак построили. Барак-то скоро сгниет, а дворец бы по сей день стоял. Чем он им помешал?

А дом большой, что по Революционной, на нем табличка с годом постройки еще целая, в тысяча восемьсот двенадцатом году построен. Этот дом до революции занимал один кучер. Сейчас в нем живет восемь семей. Да и вообще, все старинные дома стоят, как новенькие, а новые сгниют скоро. Возьми старую школу, больницу, детский сад – все эти дома Паклевского, все они в прошлом веке построены и будут еще стоять о-е-ей! А склады спиртзавода! Колька, ты знаешь, сколько им лет? Нет, не знаешь! Им более двухсот! А они как игрушки!

Хрунов хотел расширить школу: снести склады, но ему отказали. Эти склады в Москве на учете числятся. Никому не дадут их снести. Да и пруд взять бы. Раньше, знаешь, какой чистый был. В нем рыбы полно водилось. А с окрестных деревень за водой из пруда специально приезжали. Вода в пруду была мягкая, не цвела, и стоило вскипятить в самоваре воду, и вся накипь отставала. Потом в него стали отходы со спиртзавода сбрасывать, и вся рыба передохла. Зачем они еще и в пруд отходы сбрасывают, по сей день не пойму. Бардянки<sup>[5]</sup> им, что ли, мало? Один карась и ужился! Живучий ведь, а, карась? Раньше, при Паклевском, за прудом следили, чистили его. Особенно ключи. Ты ведь знаешь, доски гнилые от лотков все еще целые. Вода по лоткам текла. Да и после войны женщин со спиртзавода посылали ключи чистить. Они вместо того чтоб ключи чистить, ягоды собирали, грибы, а потом на солнышке пузо грели. Так и запустили пруд.

Я всю Европу прошел, каких только мест ни видел красивых, но красивее нашей местности не встречал. Сейчас зима, не знаю, доживу ли до весны, хочется перед смертью вдоль пруда пройтись и по лесу тоже. Меня так туда тянет. Что за чудную природу Бог создал в Падуне.

Водка кончилась. Дядя Паша поставил на стол десятилитровую бутылку.

- Тут у меня брага была, одна гуща осталась. Может, допьем?  
– Допьем, – согласился Ян.  
Водка его сегодня не брала.  
Допив гущу, дядя Паша подошел к вешалке и достал из пальто пятерку.  
– Я вижу, ты крепкий. Сможешь еще за бутылкой сходить?  
Ян чувствовал, что после гущи опьянел, но, встав прямо, сказал:  
– Смогу, дядя Паша.

Село Падун возникло в конце семнадцатого или начале восемнадцатого века. В двадцатых годах восемнадцатого века винокуренный завод, как он тогда назывался, уже выдавал продукцию. Во время восстания Емельяна Пугачева каторжные и работный люд винокуренного завода первыми в Ялutorовском уезде взбунтовались. Падун стал разрастаться в девятнадцатом веке, когда через него прошел новый, более прямой, большой сибирский тракт. Самое название села коренные жители объясняли по-разному. Одни говорили: так его назвали потому, что когда при царе-батюшке гнали по сибирскому тракту революционеров, многие падали от усталости и умирали. Потому и Падун. Другие говорили: название села происходит от слова «впадина». В ней раскинулся Падун.

Дом и усадьбу управляющего винокуренным заводом в книге «Сибирь и ссылка» останавливавшийся в Падуне во время путешествия в Восточную Сибирь летом 1885 года Д. Кеннан<sup>[6]</sup> описывает так: «Приблизительно в ста верстах от Тюмени, за деревней Заводо-Уковкой, мы провели два часа в имении богатого сибирского фабриканта Колмакова, к которому один из моих русских друзей дал мне письмо. Я был немало поражен, встретив в этом уголку, в стороне от цивилизованного мира, так много комфорта, вкуса и роскоши. Дом представлял собою двухэтажную виллу, обширно и удобно расположенную и обставленную. Из окон открывался вид на пруд и тенистый сад с извилистыми дорожками, тенистыми беседками, длинными рядами земляничных и смородиновых кустов и душистыми клумбами. На одном конце сада находилась оранжерея, полная гераней, вервен, гортензий, кактусов, лимонных и померанцевых деревьев, ананасовых и других видов тропических и полутропических растений, а сейчас же подле нее теплица, полная огурцов и мускатных дынь. В середине возвышался зимний сад. Этот маленький хрустальный дворец представлял собою рожицу из бананов и молодых пальм, между которыми извивались тропинки, окаймленные куртинами цветов; там и сям среди этого волшебного сада стояли садовая скамейка или удобное кресло. Деревья, цветы и кустарники росли не в горшках, а прямо в земле. Нам казалось, что мы были перенесены в тропические края. «Кто бы мог подумать, – сказал г. Фрост, опускаясь на скамейку, – что мы будем отдыхать в Сибири под сенью бананов и пальм». Сделав прогулку в прелестный парк, примыкавший к саду, мы вернулись назад в дом, где нас ожидал уже холодный ужин, состоявший из икры, маринованных грибов, дичи, белого хлеба, пирожных, земляники, водки, двух или трех сортов вина и чаю».

В двадцати километрах от Падунa находится село Новая Заимка, в ней родилась и выросла мать Коли, Акси́нья Александровна Мареева. Новая Заимка была основана позже Падунa, и прадед Акси́ньи Александровны в числе первых переселенцев построил большой пятистенник.

Самыми богатыми в Новой Заимке были Чанцовы. Перед революцией они начали строить мыловарню, но так и не успели. На большие осиротевшие котлы бежали смотреть местные ребятишки, среди них и маленькая Ксюша.

Весной 1918 года Чанцовы из Новой Заимки сбежали, оставив революции все движимое и недвижимое. Им тут же воспользовались работные люди Чанцовых. Были они из соседней

деревни Федосовой, куда и свезли движимое и пустили с молотка. Мареевы купили у чанцовских работников красивую шаль и овчинный полушубок.

Летом 1918 года белая гвардия торжественно вступила в Новую Заимку. Впереди отряда шел высокий черный с закрученными усами офицер, попыхивая длинной трубкой. Напротив дома Мареевых усатый офицер окликнул молодую женщину. Она несла воду.

Это была Ненила Попова, соседка Мареевых. Их дом стоял напротив. Сразу после революции, когда свергли царя, Ненила решила свергнуть нелюбимого мужа. Она подпалила амбар, но муж из огня выскочил, и Ненилу арестовали. Беременную, ее погнали этапом в Тюмень. Этап от деревни к деревне сопровождали крестьяне с винтовками. Когда миновали Ялуторовск и подошли к деревне Чукреевой, где родился и вырос отец Коли, Алексей Яковлевич, этапники стали сопровождать чукреевские крестьяне. В конвоиры попал только что вернувшийся из германского плена Яков Сергеевич, дед Коли. Он-то и рассказал потом, что Ненила Попова на этапе разродилась. Пока она корчилась в муках, этапники сидели на обочине дороги и, покурявая, ждали пополнения.

В Тюмени Ненилу Попову народившаяся советская власть с миром отпустила домой.

И вот Ненила, услышав оклик, поставила ведра на пыльную дорогу и повернулась к офицеру.

– Скажите, – начал офицер, – где у вас дорога на Старую Заимку?

– На Старую Заимку? – переспросила Ненила и, улыбнувшись, подняла юбку. Лево́й рукой она придерживала поднятый до подбородка подол, а правой, хлопая себя по женской прелести и поворачиваясь на все четыре стороны, говорила: – Там, мои родные, там...

– Дура, видно, – сказал офицер и приказал отряду расквартировываться, решив у умного спросить дорогу на Старую Заимку.

Усатый офицер выбрал для себя мареевский дом и с несколькими офицерами поселился в нем, заняв комнату и горенку. Хозяева стали ютиться в кухне.

Маленькой Ксюше страшным казался черный усатый офицер, но она тем не менее подглядывала в щелочку двери. Офицер с боевыми друзьями часто пил вино и сидел на кровати, развалившись и попыхивая длинной и черной, как и сам, трубкой.

Через год Красная Армия перешла в наступление на Восточном фронте, и колчаковцы с боями стали отступать. Черный усатый офицер отдал распоряжение забрать у Мареевых пуховые подушки. Солдаты утащили их в повозку, но Фекле Герасимовне, матери Ксюши, дети сказали об этом. Она подбежала к повозке, забрала подушки и унесла в дом. Отчаянная была Фекла, а муж ее, лучший стрелок полка, погинул в германскую.

Офицер разозлился на нее и пошел следом.

Она стояла на кухне без подушек около печки. Не говоря ни слова, черный усатый офицер наступил ей шпорой на босую ногу и, развернувшись, вышел, раздавив большой палец ноги.

В конце двадцатых годов в Новой Заимке образовали колхоз. Обобществили скот, инвентарь и даже птицу. Некоторые бедняки говорили, что лучше умрут, но в колхоз не вступят. Зажиточных мужиков, да и не зажиточных тоже, раскулачили.

В Новой Заимке жили богаче, чем в окрестных деревнях, и мужики из бедных деревень, приезжая в Новую Заимку, стали исподтишка заменять старый инвентарь на более добротный. Хоть вожжи или уздечку, да заменят. Но колхоз просуществовал недолго: распался. Скот развели по домам, а птицу растащили, прихватывая и чужую. Мареевы всех кур домой принесли, лишь петух попал в чужие руки.

У Ксюши был старший брат, Иван. В детстве неродная бабка хлестнула его мокрой тряпкой по лицу, чтоб первый блин не брал. И с тех пор он помешался. Раз прибегают Ванька домой – ему уж лет шестнадцать было – и говорит:

– Мама, а наш петух у Мишки Харитоновна поет.

– А ты откуда знаешь, что наш? – спросила Фекла Герасимовна.

– А я по голосу узнал.  
– Ну, если наш, забери.  
И Ванька принес домой петуха.  
В Новой Заимке сразу появилась частушка:

Кто за гриву, кто за хвост,  
Растащили весь колхоз.

Вскоре колхоз организовали во второй раз, и по улице затарахтел американский трактор «фордзон». Ребятишки бежали за ним радостные, а старики, стоя у дороги, дивились стальному чуду.

В Новой Заимке жил бедняк по кличке Бог Помощь. Свою поговорку «Бог помощь» лепил к месту и не к месту. Семья у него – большая, но он, хотя и последний хрен без соли доедал, в колхоз не вступал – нужники в селе чистил.

Зимой у Бог Помощь умерла жена, и он зарыл ее на кладбище в сугроб. Весной вызвали в милицию, и он, выслушав мораль, сказал:

– Зимой-то я ее, Бог помощь, а весной она милости просим.

В милиции Бог Помощь приказали купить гроб и похоронить жену в могилу.

В конце войны многодетных матерей вызвали в Новозаимковский райисполком. В торжественной обстановке стали вручать ордена «Материнской славы». Дошла очередь и до Феклы Герасимовны. Поднявшись на трибуну, она сказала:

– За *НЕЕ* я орден получать не буду.

Аксинья Александровна, выйдя замуж за Алексея Яковлевича, объездила половину Омской области – Алексей Яковлевич работал в милиции, его часто переводили из района в район, и через двадцать лет, в начале пятидесятых, они вернулись в Новую Заимку. Коле было всего год.

У Феклы Герасимовны – большое семейство, и она рядом с дедовским пятистенником построила еще один. Но в тридцатые годы ее братья и дети разъехались, и дедовский дом пустовал. Его занял колхоз под контрольно-семенную лабораторию. Вернувшись в Новую Заимку, Алексей Яковлевич стал хлопотать, чтоб колхоз отдал его жене законный дом. Фекла Герасимовна к этому времени умерла, и Петровы жили вместе с Иваном в новом доме. Дом по недостатку лесоматериала был плохо покрыт и начал гнить.

Дом Петровым решили вернуть, но за перекатку сказали уплатить небольшую сумму. А денег в это время не оказалось, и дом так и остался у колхоза. Алексея Яковлевича вскоре назначили директором маслозавода, и вся семья уехала в деревню Боровинку.

Иван жаловался колхозникам, что его дом протекает, а ядреный, прадедовский дом, которому лет сто пятьдесят, стоит как ни в чем не бывало, да» вот только колхоз за него деньги просит, а где он по трудодням столько заработает.

Старики колхозники сочувственно относились к помешанному Ивану и успокаивали его, говоря: «Вот падет советская власть, и ты перейдешь в свой старый дом».

После Отечественной войны прошло около десяти лет, но некоторые старики в Сибири не верили, что советская власть долго продержится. Да и в Падуне кое-кто из дедов, обиженных советской властью, запрещал своим детям и внукам дружить с Колей, потому что его отец – бывший начальник милиции и коммунист. Коля видел, как бородачи, особенно когда подвыпьют, ругали Советы и в ярости готовы всем коммунистам глотки перегрызть.

Ян купил бутылку «Столичной» и мимо сельсовета пошел к дяде Паше. На пороге увидел парня. В одном классе учились. Поздоровался, спросил, кого ждет.

– Участковый вызвал, – ответил Толя.

– За что?

– О тебе спрашивал. Интересуется, не говорил ли ты мне о каких-нибудь кражах. Его особенно кража дома Серовых интересует. Сейчас других допрашивает, а со мной еще в конце поговорит.

– Так, хорошо. Пойду-ка поповедаю Николая Васильевича, что-то он не тех людей допрашивает.

Поднявшись на второй этаж, Ян около кабинета участкового увидел двоих ребят. Они сидели на стульях и ждали очереди. Ян распахнул двери и вошел, громко поздоровавшись. Участковый допрашивал парня. С ним Ян был в дружбе. Подняв на Яна глаза, Николай Васильевич сказал:

– Петров, я тебя не вызывал. Выйди.

– Знамо дело, не вызывали. Когда прошусь, чтоб меня из милиции отпустили, не отпускают, а когда сам прихожу, гоните. Зачем этих ребят допрашиваете? Что вам от них надо? Отпустите домой и прекратите комедию. Не хватает улики против меня, так вы это затеяли. А они обо мне ничего не знают.

Ян, хоть и пьяный был, но говорил четко. Сознание работало.

– Знаешь, Петров, иди проспись и в таком состоянии не приходи. Ты что, учить меня пришел?

– Не учить, но подсказать: не тех людей допрашиваете. Прекращайте.

– Выйди. Ты мне мешаешь.

– Не выйду.

Участковый встал и подошел к Яну. Увидев, что внутренний карман «москвички» отдутой, правой рукой взялся за низ шалевого воротника, потянул в сторону, а левой ловко выдернул из внутреннего кармана бутылку «Столичной». Ян не успел моргнуть, как участковый отошел от него и поставил бутылку на край стола.

– Иди домой, или вызову машину.

– А вот теперь вообще не уйду, раз вы забрали водку. Если отдадите, уйду.

– Я кому сказал – выйди из кабинета.

– Не знаю, наверное, не мне, а ему. – Ян кивнул на парня.

Николай Васильевич понял: Ян в таком состоянии не слушает, и снял трубку телефона. Телефонистка соединила с милицией.

– Салахов. Тут я веду допрос, а Петров пришел пьяный и мешает. Пришлите машину.

Положив трубку, сказал:

– Вот теперь садись и жди. Сам просишься.

Ян сел на стул: как поступить? Может, убежать от участкового, раз машину вызвал. «А-а, Бог с ним, заберут так заберут. Все равно через три дня отпустят», – подумал Ян и стал ждать машину. Участковый допрос не возобновлял, а писал, изредка поднимая голову на Яна.

Прошло с полчаса, а машины нет. Яна развезло, он решил схватить бутылку и убежать. Но бутылка рядом с участковым, и его надо отвлечь.

Ян подкатил к окну.

– О! – крикнул он, глядя в окно. – Машина пришла.

Николай Васильевич встал. Пока оглядывал пустую улицу, Ян схватил со стола бутылку и ломанулся. Но участковый догнал и отобрал.

– Садись и жди. Сам напросился, – сказал он и закрыл водку в сейф.

Время шло. Участковый позвонил в милицию и склонился над бумагами.

– Николай Васильевич, мне надоело ждать. А-а, вот слышу гул машины. Она подана.

Участковый подошел к окну. Перед сельсоветом и вправду стояла машина, но не милицейская.

– Ну сколько ждать, может, я не нужен им. Хорош, Николай Васильевич, я пошел.

Встал и направился к двери, думая: за ним побежит участковый, но тот и слова не сказал. Он решил пойти в магазин, занять у знакомых рубль, добавить к сдаче и купить третью бутылку.

В магазине ему стало плохо. Рвать поманило, и он вышел на улицу. Гуща дала себя знать. Зашел за угол, постоял, качаясь, и упал навзничь.

Начал мерзнуть и пришел в сознание. Около него собрался народ. Женщины осуждали.

– Переверните его на живот, – услышал он женский голос, – а то захлебнется.

Яна рвало.

Сильные мужские руки перевернули его, и вскоре мать подошла. За ней кто-то сбегал, и она увела сына домой.

Коле не было пяти лет, когда впервые до беспамятства напился. Жили они тогда в Новой Заимке, и к ним нагрянули гости. Отец, гордясь шустрым сыном, посадил его на колени и, разговаривая с гостями и не обращая на Колю внимания, пил водку, все больше оставляя на дне стопки. А маленький Коля допивал остатки, крикал, как взрослый, и, нюхая хлеб, закусывал. Ему стало плохо, он залез под кровать и блевал там.

После первого похмелья не переносил запах спиртного лет до двенадцати. Потом старшие пацаны приучили к вину и бражке. Сядут играть в карты и потягивают.

Падун называли в округе пьяной деревней. Если кто не работал на спиртзаводе, а выпить хотелось, перелезал через забор и приходил в бродильный цех. Просящему протягивали черпак, и он пил некрепкую бражку, не отрываясь: таков обычай.

Дома Ян едва заснул, как его растолкал отец.

– Вставай. Милиция приехала.

Ян оделся. Голова раскальвалась. Алексей Яковлевич накинул на себя белый овчинный полушубок и вышел следом за сыном.

Машина стояла у ворот, и Алексей Яковлевич сказал сержанту:

– Я с ним поеду. Он еще пьяный.

Они втроем забрались в спецмашину медвытрезвителя.

Около сельсовета машина остановилась. Двое парней подняли руку и попросили довести до Заводоуковска. Им надо к поезду. Учатся в Тюмени.

Парни залезли в машину и стали укорять Яна, что он, такой молодой, и напился. И чуть не подрались. Сержант разнял.

## 9

Яна закрыли в ту же камеру. Мужики, увидев его пьяным, заулыбались и загоготали.

– Встретил Новый год! Наверстал! Хоть бы нам во рту принес, – острили одни.

Ян пообещал, что, когда проспится, все расскажет, и бухнулся на нары.

Поздно вечером проснулся. Его томила жажда и, выпив кружек пять воды, закурил и начал, приукрашивая, рассказывать один день, прожитый на свободе.

Мужики похвалили Яна – вдохнул в них струю вольной жизни, и завалились на нары, мечтая вырваться из КПЗ и до потери пульса, так же как и Ян, ужаться.

Четверо суток Ян просидел в КПЗ. Каждый день его вызывал Бородин. «Если сознаешься, – говорил он, – выпустим тебя, и ты поедешь учиться в Волгоград. Не сознаешься – посадим».

Ян стоял на своем, и его выпустили. Решил рвануть в Волгоград. Каникулы кончились.

Вечером у клуба столкнулся с участковым. Николай Васильевич сказал:

– Коля, мне Бородин сегодня звонил, ты у него в каком-то протоколе забыл расписаться.

Завтра утром, к десяти часам, приходи в прокуратуру.

– Не ходи, – сказал дома отец. – Уезжай в Волгоград. Хватит, и так посидел.

– А че бояться? – возразил Ян. – Если хотели посадить, то и не выпускали бы. Распишусь в протоколе и вечером уеду.

На этом и порешили.

Утром Ян встал рано. Мать пельменей сварила. Отец достал бутылку «Столичной».

– Ладно уж, выпей стопку за счастливый исход.

В Заводоуковск, в прокуратуру, Ян поехал с сестрой Галей. Она была старше Яна, училась в Тюмени и тоже приехала на каникулы. Он не хотел с ней ехать, но настоял отец, чтобы знать, посадили его или нет, в случае если не вернется.

В прокуратуру – небольшой деревянный дом, стоявший за железной дорогой, неподалеку от вокзала, Ян зашел смело. «Все, – думал он, – распишусь – и в Волгоград вечером дерну».

Открыв дверь приемной, спросил:

– Можно?

– А-а-а, Петров, подожди, – сказал прокурор района, стоя на столе и держа в руках молоток. – Сейчас прибьем гардину...

«Ну, – подумал Ян, – прокурор делом занят. Конечно, садить не будут». Ян ждал молча.

Распахнулась дверь, и Анатолий Петрович пригласил Яна.

Он вошел. Приемная просторная. За столом – средних лет женщина, это она подавала прокурору гвоздь, когда он прибывал гардину.

– Вот сюда, – сказал Анатолий Петрович, и Ян последовал за ним.

Вошли в маленький кабинет. Стол занимал треть комнаты. Прокурор сказал: «Садись», – и Ян сел на стул, стоящий перед столом. Прокурор достал какой-то бланк, положил на стол и пододвинул к Яну:

– Распишись, – сказал Анатолий Петрович, – с сегодняшнего дня ты арестован.

– Что-что? – спросил Ян.

– Это санкция на арест. Распишись. Все. Хватит. Покуролесил, – сказал прокурор и, взяв черную, к концу утончающуюся ручку, вложил Яну в правую руку. – Распишись.

– Вы в своем уме, Анатолий Петрович? Что вы мне суете? Расписываться не буду.

Бросил ручку, и она покатилась по санкции, оставив на ней несколько чернильных капель синего цвета одна другой меньше. Чернильные капли заляпали санкцию примерно в том месте, где Яну надо расписаться.

– Вот вам моя роспись, – зло сказал Ян, не глядя на прокурора.

– Хорошо, расписываться ты не хочешь, – сказал прокурор, взяв ручку. – *Тогда напиши в санкции, что от подписи отказался.*

– Анатолий Петрович! – Ян повысил голос. – Вы что, за дурака меня принимаете? Пишите сами, если это вам надо.

Прокурор убрал санкцию в ящик стола и встал.

– Пошли.

Ян через приемную вышел в коридор, где сидела сестра. Там его ждали два милиционера. Ян сказал сестре: «До свидания»,– и в сопровождении ментов пошел к машине. ГАЗ-69 с водителем за рулем стоял у ворот прокуратуры.

Сел на заднее сидение, менты по бокам, и машина покатила. Водитель, парень лет тридцати, посмотрев на Яна, сказал:

– Здорово, старый знакомый.

Ян промолчал.

– Что, не узнаешь?

– Узнаю, – ответил Ян, слыша в голосе водителя не издевательство, а сочувствие.

Водитель летом поймал Яна около поезда, когда он хотел уехать на крыше вагона со своими друзьями в Омутинку, чтоб обворовать школу. Робка с Генкой разбежались в разные стороны, а водитель схватил Яна за шиворот – он не обратил внимание на ментовскую, без погон, рубашку. Попытался выскользнуть из пиджака, надеясь оставить его в цепкой ментовской руке, а самому убежать: в карманах пиджака ничего не было. Водитель другой рукой сжал его локоть. Так он провел Яна по перрону вокзала в ментовку. Дежурный по линейному отделу милиции отпустил Яна – зайцы ему не нужны.

«Если б ты меня тогда не поймал, – подумал Ян, – мы бы уехали в тот день в Омутинку. И тогда бы нам не попался в тамбуре тот мужик, которого мы грохнули».

– Ну вот, доездили, – сказал водитель, – такой молодой – и в тюрьме сидеть будешь.

Ян промолчал, и водитель больше с ним не заговаривал, понимая: парню не до разговора.

Через неделю Яна с этапом отправили в тюрьму и вот теперь привезли в КПЗ для закрытия дела.

## 10

Сутки Ян отвалился на нарах, выспался, и сегодня его повели, как думал он, к Бородину. Но в кабинете сидел младший советник юстиции, помощник прокурора, следователь прокуратуры по делам несовершеннолетних Иконников. Ян знал: следствие у малолеток должна вести прокуратура, но уголовный розыск был расторопней, он раскрывал преступления малолеток и готовые дела передавал в прокуратуру. Иконников стал допрашивать Яна, поглядывая в протоколы, составленные начальником уголовного розыска. Но у следователя прокуратуры была надежда: вдруг Ян, посидев в тюрьме, откажется от лживых показаний и расскажет ему, как бабушке на духу.

Ян лениво отвечал на вопросы следователя, оглядывая его. Иконников пожилой, сухощавый, среднего роста, седой и казался Яну старикашкой. Сын Иконникова – Ян знал это – за какое-то крупное преступление схлопотал около десяти лет.

– Значит, – спросил Иконников, – от старых показаний не отказываешься?

– Нет. Я не собираюсь в угоду вам давать лживые показания против себя. Вы что, вранье или правду любите?

– Правду, конечно.

– Ну и не задавайте лишних вопросов. Врать я не намерен.

– Пусть будет по-твоему. Только твою правду и буду записывать.

Обновив протоколы рукой следователя прокуратуры, Иконников на другой день сказал: – В конце недели закроем дело. И все.

На закрытие дела Иконников пригласил защитника. Ян со следователем сидели и ждали Ефарию Васильевну, адвоката районной адвокатуры, жену начальника милиции. Наконец она пришла, улыбнулась, поздоровалась, бросила черные перчатки на стол, разделась и села.

– Так, Коля, – сказала она, – давай посмотрим дело.

Иконников придвинул стул, и Ефария Васильевна стала бешено листать дело.

– Можно помедленнее? – попросил Ян.

– Можно, – ответила защитник.

– Давайте сначала.

– Давай, но там интересного ничего нет. Есть, правда, одна интересная бумага, Коля, которую тебе надо обязательно подписать.

– Что за бумага?

– Санкция. Ты ее тогда не подписал. Сейчас подпишешь?

Ян задумался.

– Собственно, – продолжала Ефария Васильевна, – можешь и не подписывать, от этого никому хуже не будет. Тебя не выпустят, если не подпишешь, ты это уже проверил, а суд и без подписи состоится. Подпишешь?

И Ян оставил на память органам правосудия свою корявую подпись.

Из всего дела только один документ запомнился Яну. В нем говорилось: если он не приедет из Волгограда в Падун на зимние каникулы, то не позднее 10 января послать санкцию на арест в Волгоград, по месту жительства Петрова.

«Десятого января меня и арестовали. Если бы послушался отца и уехал, санкцию бы вдогонку», – подумал Ян, когда закрытие следственного дела скрепили подписями.

На следующий день Яна и других этапников на «воронке» отвезли на железнодорожный вокзал и посадили в «Столыпин».

И вот Ян снова в тюрьме. Получив постельные принадлежности и переодевшись в застиранную робу, шел следом за корпусным и молил Бога: «Посадите в другую камеру!» Но в тюрьме – порядок, и заключенных, возвращавшихся со следствия, сажали в те же камеры. Яна закрыли в двадцать восьмую.

Парни радостно приветствовали его, а цыган – особенно.

И потянулась у него мрачная жизнь.

– Камбала, ну-ка Расскажи кинуху, – сказал Яну на другой день цыган, – а то скучно.

Ян пересказал все фильмы, и не знал, какой вспомнить.

– Да я все рассказал.

– А я говорю – вспомни!

– Не помню.

Цыган подошел к нему и сел на шконку.

– Даю минуту. Если не вспомнишь, будем вспоминать вместе.

Минута прошла, но Ян молчал. Цыган выкрутил ему назад руки и стал подтягивать к голове, спрашивая:

– Ну что, вспомнил?

Он молчал.

Цыган мучил его до тех пор, пока не услышал:

– Да, вспомнил.

Кинофильма Ян не вспомнил, а стал импровизировать, соединяя отрывки из различных кинокартин.

Вышло неплохо.

И цыган по несколько раз в день выкручивал Яну руки, сдавливал шею, дожидаясь от него одного ответа: «Да, вспомнил».

Ян и отрывки все рассказал. И стал он кинофильмы выдумывать. Ребята понимали это, но с благоговением слушали, вставляя иногда: «Вот гонит!»

Цыган в покое Яна не оставлял. Отрабатывал на нем удары, а один раз, когда он уснул днем, накрывшись газетой, поджег и чуть не опалил ему лицо.

Вскоре на этап забрали Васю, и на свободное место бросили крепкого сложением, высокого ростом, с наколками на руках новичка. Поздоровавшись, положил матрац на свободную шконку и встал посреди камеры, небольшими, глубоко посаженными, хитрыми глазами оглядывая ребят. В его взгляде не было испуга, и пацаны, особенно Миша, задумались: а не по второй ли ходке? Надо начинать разговор, и Миша спросил:

– Откуда будешь, парень?

– Из Тюмени, – коротко ответил тот.

– А где жил?

Парень объяснил.

– По первой ходке?

– По первой.

– Какая у тебя кличка?

– Чомба.

Миша не стал называть свое имя и протягивать новичку руку. Узнав, за что попался Чомба – а посадили его за хулиганство, – Миша закурил и лег на шконку, поставив пятку одной ноги на носок другой.

Чомба сел на кровать рядом с Яном и сказал:

– Я рубль пронес. Надо достать его.

– А где он у тебя? – поинтересовался Ян.

– В ухе.

Ян помог Чомбе вытащить из уха рубль, а Миша, не вставая со шконки, сказал:

– На деньги в тюрьме ничего не достанешь. Если они на квитке, тогда отоваришься.

После ужина Миша сказал Чомбе:

– Сейчас тебе прописку будем делать. Слышал о такой?

– Слышал. Но прописку делать не дам.

Камера молчала. Чомба бросал вызов. Медлить нельзя, и Миша спросил:

– Это почему ты не дашь делать прописку, а?

– Не дам, и все.

– Прописку делают всем новичкам. Сделаем и тебе.

Парни сидели по шконкам и молчали.

– Я же сказал, что прописку вы мне делать не будете.

– Может, еще скажешь, что и игры с тобой не будем проводить?

– И игры тоже.

Будь на месте Чомбы Ян, его бы с ходу вырубил. Но Чомба сидел на шконке, держа на коленях огромные маховики. Миша стоял возле стола и близко к Чомбе не подходил, понимая: если схватится с Чомбой, парни на помощь не придут.

Ян в душе был за Чомбу, но, как и все, молчал.

– Чомба, не лезь в бутылку, прописку и игры делают всем.

– А я не лезу. Сказал, что ни прописки, ни игр со мной делать не будете, – Чомба встал со шконки. – Все мои кенты по несколько ходок имеют и рассказывали, что такое прописка, игры и так далее.

Миша сбавлял обороты. Стыкаться с Чомбой не хотелось. Неизвестно, кто кого вырубит.

Так сила и решительность одолели неписанные тюремные законы.

С приходом Чомбы цыган стал меньше мучить Яна. Миша продолжал держать мазу, но присутствие Чомбы сбивало с него и цыгана блатную спесь. Пообходительнее стали со всеми. На два лагеря камера не разделилась: у Чомбы не было авторитета. Ян симпатизировал Чомбе и чаще других с ним разговаривал.

Колиного тезку забрали на этап, и в камеру бросили новичка. Он шел по второй ходке, и прописку не делали.

Яну вручили обвинительное заключение. Он расписался в бумагах, что числится за прокурором, а потом – за судом.

Когда забирали на этап, получил от Миши увесистый пинок под зад. Это был тюремный ритуал – пинать под зад тех, кого забирали на суд, чтоб в тюрьму после суда не возвращался.

В «Столыпине», сдавленный заключенными, ехал в приподнятом настроении. Надеялся получить условное наказание и представлял, как, освободясь, поспешит в Волгоград, где его ждет письмо и фотография Веры. Даже жалел, что не переписал тюремную инструкцию. Она в простенькой рамке висела под стеклом над парашей. Тюремную инструкцию ему хотелось показать друзьям и рассказать, какие строгие порядки в тюрьме.

В КПЗ, в камере, встретил друга, Володю Ивлина, подельника Роберта. Заводоуковск объявил всесоюзный розыск, и его взяли в Душанбе, где устроился на работу. Вова ждал суда, не унывал, не по первой ходке шел, и большой срок ему не горел. Но на Роберта был в обиде. Володю привлекали как соучастника и подстрекателя.

– Ян, в натуре, – тихонько говорил Вова, чтоб зеки не слышали, – я же о вас все знаю. Знаю, что вы мужика грохнули, кое-какие кражи знаю, но я не козел, и хоть в обиде на Робку, но не вложу вас.

Через день Яна забрали на суд, и Вова дал пинка под зад.

– Пошел, – сказал он, – чтоб с суда не возвращался.

Зал суда постепенно наполнялся людьми, но свободные места остались. Отец Яна сел на вторую скамейку, к стене, и смотрел на сына сбоку. Ян переговаривался с ним. Рядом с Алексеем Яковлевичем сидела мать Володи Ивлиева. Она пришла на суд узнать у Яна про сына. Но Яну не до Вовки, и он ее не узнал, а она не стала у него спрашивать.

Мать Яна стояла в коридоре за дверями – проходила по делу свидетелем как родитель несовершеннолетнего обвиняемого.

В зал вошли члены суда и сели за стол, покрытый красным материалом. Председательствующая – средних лет женщина. Слева от нее сидел пожилой мужчина с усами, справа молодая женщина – народные заседатели. Слева, за отдельным столом, государственный обвинитель – помощник прокурора района, а стол напротив заняла молодая защитница Барсукова. Ее Ян видел впервые. По непонятным причинам жена начальника милиции – Ефария Васильевна на суд не пришла и послала вместо себя коллегу. А та с делом не познакомилась.

Судья начала расследование с кражи вещей из дома Серовых. Серовы в исковом заявлении указали, что у них украли костюм, хотя Ян взял только пиджак, и запчасти от мотоцикла. Запчасти Ян даже не видел.

Были допрошены два свидетеля – Мишка Павленко и Генка Медведев. Они, как и на предварительном следствии, заявили, что Ян им о кражах рассказывал. А Мишка подтвердил, что взял у Яна ворованный предохранитель от приемника. Санька Танеев – а он вложил Яна по этой краже – свидетелем по делу почему-то не проходил. Ян с возмущением отверг показания свидетелей, сказав:

– Они оговаривают меня.

На второй краже – дома Трунова, судья Яна крепче приперла, и улики нашлись больше: его письмо из Волгограда, в нем он просил Петьку Клычкова подбросить боеприпасы участковому или потерпевшему, показания отца Петьки, Терешки, что он видел ворованные вещи у себя в доме. И Яну ничего не оставалось, как признаться.

– Прошу рассказать, – сказала судья, довольная, что сразила Яна, – да подробнее, как ты обворовал дом Трунова.

Ян встал.

– Я хотел у него украсть только одну бражку, зная, что перед отъездом в отпуск он поставил ее. Но когда залез в дом, то ради потехи одел на себя фетровую шляпу и подпоясался офицерским ремнем. Кителя у Трунова не брал, не брал также и облигации. В письме из Волгограда я просил Петьку Клычкова подбросить участковому или Трунову боеприпасы.

После того, как на чердаке Трунова нашел украденный со спиртзавода мешок кубинского сахара, понял, что бражку и сахар мне одному не унести, и пошел за подмогой, к Петьке Клычкову. Он спал. Разбудил его, рассказал, что есть брага и сахар, и мы пошли с ним к Трунову. Залезли на чердак, сбросили сахар и спустились по лестнице брагу. Потом все это отнесли к Петьке домой. Вот так совершил кражу. Заявляю еще раз: кителя и облигации я не брал.

Ян сел. По залу прошел говорок. И судья обратилась к потерпевшему:

– Дмитрий Петрович, это правда, что сейчас рассказал Петров? Вы в действительности ставили брагу и он ее у вас украл вместе с ворованным сахаром?

Трунов несколько секунд молчал и еле выдавил:

– Да.

В зале засмеялись, и кто-то крикнул:

– Вор у вора украл!

Зал на эту реплику взорвался хохотом, заулыбалась судья вместе с народными заседателями и защитник, лишь один прокурор не среагировал на реплику.

Судья зачитала справку из районного банка. В ней говорилось, что облигации развития народного хозяйства в настоящее время нельзя рассматривать как денежный вклад.

– И потому, – сказала она, – суд не может удовлетворить исковое заявление гражданина Трунова и возместить ему ущерб в сумме трех тысяч трехсот семидесяти пяти рублей старыми деньгами.

Судья вызвала мать Яна. Она рассказала, что никогда не замечала, чтоб сын что-нибудь ворованное приносил в дом. И из дома ничего не тащил.

Судебное расследование закончено. Государственный обвинитель – маленький горбатый прокурор Сачков – сказал обвинительную речь:

– Товарищи судьи! В наш двадцатый век – век торжества коммунизма, в век технических достижений советской науки, когда космические корабли бороздят глубины Вселенной, а советские люди строят будущее всего человечества – коммунизм, есть преступники, которые мешают поступательному развитию нашего общества и вместо того, чтобы овладевать знаниями и самим вносить весомый вклад в строительство коммунизма, совершают преступления, нанося тем самым нашему обществу большой вред...

Ян глядел на низкорослого горбатого прокурора, на его очки, закрывающие половину лица, и думал: «Нет-нет, мне все равно не должны дать срок. Меня выпустят с суда. Не может быть, чтоб меня посадили...»

Прокурор запросил Яну четыре года лишения свободы.

После прокурора выступила защитник. Во время судебного разбирательства она сказала несколько слов и теперь была немногословной. Она лишь просила суд учесть, выбирая меру наказания, малолетний возраст обвиняемого.

Судья предоставила последнее слово Яну. Он встал, обвел взглядом президиум. Лицо – бледное. Чуть более месяца просидел в тюрьме и за это время на прогулку сходил только раз. От затхлого тюремного воздуха опаршивел, и три гнойные язвы около губ делали его обезображенное лицо отталкивающим. Он давно надумал, что сказать в последнем слове.

В КПЗ Ян несколько дней сидел в одной камере с местным малолеткой. Он только освободился из бессрочки<sup>[7]</sup>. Малолетка научил Яна одиннадцати магическим словам. Они должны подействовать на судью, и после них, как думал Ян, ему точно дадут условный срок. Слова эти надо говорить в последнем слове, в самом конце. И еще он решил сказать про цыганку, которая якобы ему нагадала тюрьму, а суд – рассчитывал он – вопреки предсказаниям цыганки не вынесет суровый приговор. И в какой-нибудь газете появится информация под заголовком «Предсказание цыганки не сбылось». В ней будет говориться: пятнадцатилетнему парню цыганка нагадала тюрьму, но советский суд дал ему год условно. Не надо, мол, верить цыганкам...

Ян говорил – сбивчиво. В одной краже признавался, другую отметал. Но закончил четко.

– Граждане судьи, – громко сказал он, – незадолго до того как меня посадили, цыганка в поезде нагадала, что меня ждет тюрьма.

Ян замолчал, судья и заседатели улыбнулись, а секретарь суда – молоденькая девчонка – оторвала взгляд от бумаг и посмотрела на него. В зале негромко засмеялись.

Одиннадцать магических слов надо проговорить как можно плаксивей, и он их проговорил:

– Граждане судьи! Дайте мне любую меру наказания, только не лишайте свободы.

Ян сел, а судья объявила перерыв.

На «воронке» отвезли в КПЗ. Поклевал перловки, рассказал мужикам, кто судил и как шел суд. И его повезли на приговор.

Судья взял отпечатанный приговор, а Ян посмотрел на пустот место, где сидел прокурор. Не пришла на приговор и защитник. Судья стала читать:

– Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики...

Ян, слушая, многое пропускал мимо уха – «народный суд Тюменской области... разбирал в открытом судебном заседании дело по обвинению Петрова Николая Алексеевича... по статье

сто сорок четвертой, части второй Уголовного кодекса РСФСР, установил: подсудимый Петров, пользуясь тем, что в доме Серовых никого нет, так как Серовы выехали в отпуск, ночью подбором ключей открыл замок, проник в квартиру и совершил кражу костюма, разных пластинок в количестве около восьмидесяти штук, кожаных перчаток, лампы от радиолы и запасных частей к мотоциклу, всего на сумму двести двадцать рублей. На другой день краденые пластинки, перчатки, свитер серого цвета принес к гражданину Клычкову. Свитер и перчатки продал Клычкову за ноль целых пять десятых литра водки, отдал Клычкову девять пластинок, а остальные унес обратно. В июле месяце Петров, также зная, что гражданин Трунов выехал в отпуск и в квартире никого нет, ночью оторвал доску на фронтоне, проник на чердак дома, с чердака в квартиру и совершил кражу двух кителей, фетровой шляпы, офицерского ремня, двадцати штук патронов и облигаций разных займов на сумму три тысячи триста семьдесят пять рублей. Всего на сумму без облигаций на девяносто шесть рублей. Подсудимый Петров виновным признал себя частично и пояснил, что кражу в квартире Трунова совершал он, а в квартиру Серовых не лазил. . . Впоследствии Петров из села Падун выехал в город Волгоград и прислал письмо, в котором просил боеприпасы, облигации подбросить Трунову или работнику милиции Салахову.

Свидетель Павленко подтвердил, что Петров ему рассказал, что он совершил кражу в квартире Серовых и отдал ему предохранитель от приемника.

Об этом же подтвердил свидетель Медведев. О том, что *кражу в квартире Серовых, Труновых* совершил Петров, *подтверждают ПИСЬМА* Петрова Клычкову. . .

Потерпевший Серов просит удовлетворить заявленный им гражданский иск в сумме двухсот двадцати рублей, потерпевший Трунов от поддержания иска отказался. На основании изложенного суд, руководствуясь. . . приговорил: Петрова Николая Алексеевича по статье сто сорок четвертой, части второй Уголовного кодекса РСФСР признать виновным и определить меру наказания три года лишения свободы с отбытием в колонии для несовершеннолетних. . .»

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.